

ЛЕОНИД БЛЮМКИН

«НАМ НЕЧЕГО ДЕЛИТЬ...»

В новую книгу Леонида Блюмкина вошли стихи, написанные в последние годы, а также избранное из пяти предыдущих сборников, в том числе, двух, вышедших в издательстве «Алетейя» (СПб.), «Осенние костры» (2008) и «В созвездии Стрельца» (2012).

Леонид Блюмкин. Поэт, журналист. Член СП России. Родился в Зауралье, в г.Кургане. Более 30 лет работал на областном телевидении. Стихи публиковались в газетах, журналах и альманахах, издающихся в России и Германии. С 2004 года живёт в Гамбурге. «Нам нечего делить...» – шестая книга Леонида Блюмкина.

ИЗ ПЯТИ КНИГ

«ВРЕМЕНИ ВИТОК»

(1985)

* * *

Время светлого пробуждения,
отшумевшее так давно.
Год победный – мой год рожденья,
всё надеждами напоено.

Мы сейчас ещё не очнулись
от войны печальных даров.
Мы – хозяева пыльных улиц
и барачных особняков,

Обладатели курток ватных
на посмешище январю.
Вспоминалось неоднократно,
вспомню снова и повторю.

В нашей нищенской колыбели
не делились на «свой»-«чужой».
Сострадали, не омертвели
полудетской своей душой.

Вот и нынче слезой нежданной
нервы выдадут иногда.
Мы сурово-сентиментальны,
как взрастившие нас года.

* * *

Старый кинотеатр с именем «Прогресс»,
на афишах – знойные улыбки.
Там в фойе на сцене маленький оркестр,
женщина играет в нём на скрипке.

Ближе к музыкантам тихо проберусь,
у стены примолкну сиротливо.
Платье – чёрный бархат, в долгом танго – грусть,
а в буфете – бочковое пиво.

Объявляет номер добрый пианист,
женщина щекою скрипку греет.
И бегут по струнам пальцы вверх и вниз,
и подрагивают всё быстрее.

Словно ищет что-то, мечется смычок,
чудится мне голос человеческий.
Женщине – за сорок, нервное плечо,
и глаза печальны каждый вечер.

Публика томится, публика гудит,
чуть прошелестят аплодисменты.
И вздохнёт над кружкой мрачно инвалид,
и веселье хлынет с киноленты.

В зале – духотища, в зале – нету мест.
Тяжко дышит полусумрак зыбкий.
А в фойе на сцене – маленький оркестр,
женщина играет в нём на скрипке.

ДОВОЕННЫЙ РЕПРОДУКТОР

В.Аванесову

Репродуктор довоенный,
где бумага и магнит,
друг мой добрый, сокровенный,
он давно уже молчит.
Вид довольно мрачноватый,
в хрупком горле мало сил.
Но в годах пятидесятых
он ещё нам послужил.

Репродуктор довоенный
на гвозде полдня дремал,
а под вечер он мгновенно
просыпался, оживал.
Он волшебник настоящий,
щедро нам дарящий звук,
этот чёрный круг шуршащий,
то поющий, то хрипящий,
всё на свете знавший круг.

Репродуктор лет преклонных,
дома вещей старожил,
предок стереоколонок,
он своё отворожил.

Может, глуше, чем стоваттный
нынешний «ихтиозавр»,
но внушительно и внятно
он о времени сказал.

ДУХОВЫЕ ОРКЕСТРЫ

Люблю духовые оркестры,
их яркую, звонкую медь.
И нынче сурово и честно
они продолжают греметь.
А впрочем, не в громкости дело.
Едва заиграет труба,
как в сердце печально и смело
врывается чья-то судьба.
Как только ударят литавры,
и звукам вдруг станет тесней,
я где-то, забывшись, летаю,
как в детстве летаю во сне.
Как только внушительный голос
подаст геликон по ладам –
и музыка сразу уносит
к далёким и страшным годам.
Туда, где тачанки и танки,
и неба не видно окрест.
И грустно играет «Славянку»
сколоченный наспех оркестр.
А вдовы томятся и плачут
на станциях встреч и разлук.
И дует, усердствуя, мальчик
в холодный и жёсткий мундштук.
Оркестр, к тишине непривычный,
оркестр и скорбей, и знамён
призывно звучит и трагично
на сложных распустьях времён.
Он с нами, где взлёт и отвага,
он с нами у гордого стяга.
Он с нами и с горькой толпой
идёт до последнего шага
уже за предельной чертой.

* * *

Опять мороз косматый,
опять узор зимы.
Идём по старым датам
уже другие мы.
Круг солнца бледно-матов
над самой головой.

Мы в скифах и сарматах
глазели на него.
И ветер выл, печалась,
и бил коням в бока.
С тех пор, как мы скончались,
уже прошли века.
Всё тот же ветер резкий,
знакомой птицы вскрик.
С тех пор, как мы воскресли,
всего какой-то миг.
Опять мороз косматый,
опять узор зимы.
И были мы когда-то,
и повторимся мы.

* * *

От голоса спокойного отвык,
от разговоров медленных и чинных.
Всё чаще мы срываемся на крик
по пустыкам и вовсе без причины.

Гляжу в окно. Ночной фонарь горит,
и дождь неспешно шляется по крышам...
Быть может, надо тише говорить,
чтобы друг друга хорошо слышать.

ЦИРК «ВЕРТИКАЛЬ»

Отпуск. Адлер. Море, как сон,
что со мною навеки останется.
И афиша у автостанции
преподносит аттракцион.
В небе ясно. Жара под тридцать.
А под куполом – едкий дым.
И на гонщика в жёлтых бриджах,
свесив головы, мы глядим.
А в колодце с глубоким дном,
разогнав мотоцикл по кругу,
по спирали,
к вершине,
круто
он врезает моторный гром.
Воедино с машиной слит,
вдавлен силою центробежной,
он, раскинув руки, летит
и отчаянно, и небрежно.
Трюк обкатан, хотя рискован,
гонщик опытный – не соскользнёт.
Но шепчу ему: «Скорость, скорость!
А иначе – не повезёт. »
Дно маячит перед глазами,

но закончен аттракцион.
Отпуск. Море. Прощаюсь с вами,
остаётся неясный сон.
Жизнь завертится – и не скроюсь.
Не оглядываясь – вперёд!
Я шепчу себе: «Скорость, скорость!
а иначе – не повезёт!»

ПЕРВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ

За столом я сижу истуканом,
на лице отупенья печать.
Говорят: «Вы стучите стаканом».
«Хорошо. Я не буду стучать».

Режиссёр не даёт мне поблажки,
ободряюще бьёт по плечу:
«Только так. Выступать без бумажки.
Возражения есть?» – Я молчу.
«Ведь горшки обжигают не боги, –
утешаю себя я тайком.–
У помрежки красивые ноги,
но об этом, конечно, потом».

И охваченный сердцебиеньем,
взглядом стрелку ищу на часах.
Прижимает к столу освещенье,
и от света темнеет в глазах.

«Тишина!» – выдыхает динамик,
вот уже полетел позывной.
И мгновения только меж нами,
между кем-то в квартире и мной.

На меня смотрит камера строго.
«Добрый вечер! – шепчу я с трудом. –
У помрежки красивые ноги,
но об этом, конечно, потом».

* * *

Я губы сладкие, как сахар,
тогда испробовал сполна.
Девчонка в брюках и рубаше –
не отличишь от пацана.
По тёмной улице за руку
гуляли мы в пятнадцать лет.
Стучало сердце глупо, глухо,
волненье чувствуя в ответ.

В подъезде мрачном и пустынном
себе сказал я: «Ну и пусть...»
От мысли дерзкой не остынув,
я сахар пробовал на вкус.
Девчонка отвернулась: «Ну-ка...»
И грубовата, но не зла,
мою встревоженную руку
с груди небрежно убрала.
Мне было радостно и подло.
Ехидный месяц в дверь светил.
Я губы сладкие запомнил,
а вот лицо совсем забыл.

* * *

Мой грустный опыт – пить привычный яд,
яд возвращенья у тем годам отрадным.
Ведь физики не зря нам говорят,
что время может двигаться обратно.

Всё получилось. Я опять в саду,
где стынут ветви, инеем одеты.
Уже мороз, а я, как на беду,
в каих-то лёгких стоптанных штиблетах.

Навис громадой старый серый дом.
Сюда пришёл я, чтоб дрожать впарадном.
Но нет тебя, не знающей о том,
что время может двигаться обратно.

* * *

Желанный привал у колодца
в июльский безжалостный зной.
Скрипучий журавль встрепенётся,
нырнёт и вернётся с водой.

Напиться, не вытереть губы
и к жизни вернуться опять.
Под рёбрами старого сруба
биенье ключа угадать.

Как будто в глубины планеты,
в колодец глядеть через край,
боясь отражение неба
собой перекрыть невзначай.

ОБЛАКА

Облака – не облака. Это крылья птицы,
взмах пухового платка и живые лица.

Помню, гуси надо мной пролетали, медля,
и мотали головой белые медведи.
Белый замок проплывал, тут же рассыпаясь.
Из обломков возникал, пламенея, парус.
Профиль ангельский светлел на холсте прекрасном,
в чудо-юдо на метле обернувшись разом.
Рот раскрыв, я наблюдал превращения эти.
Удивительней не знал ничего на свете.
Нынче в небо, как в века, вглядываюсь долго.
Вижу только облака, облака и только.

* * *

И на виду, как на ветру,
живу весёлым человеком.
А яблони в моём саду
запорошило поутру,
как белым цветом,
ранним снегом.

Я осень принял за весну.
Потом – опавший плод
 за спелый...
Порой мне кажется: вдохну,
а выдох сделать не успею.

* * *

Не нужна –
поймёшь однажды –
в краткой жизни суета.
Парк осенний – это важно,
грусть его и пустота.
Разговоры, споры, нервы –
будто нет без них житья.
Снег ложится самый первый,
одинокая скамья.
Ни к чему без промедленья
выяснять, кто прав, кто – нет.
Важно красоты явленье
на земле не проглядеть.
Может быть, нужней забыться,
опуститься на скамью.
Что-нибудь вот-вот случится,
что изменит жизнь твою.
Мир поближе разглядеть бы
в чётко видимом кругу:
лист осенний, лист последний,
лист, горящий на снегу.

**«МИГ УХОДЯЩИЙ»
(1993)**

ДНЕВНИК

Ещё не поздно завести дневник
и мысленно отправиться в начало.
Всё для того, чтоб жизненная нить
из жизни в суете не ускользала.
Оставшись только с совестью вдвоём,
перебирать события пристрастно.
Но чёрный день припомнить чёрным днём,
а праздник пусть порадует как праздник.
Не плакать зря, но боли не скрывать,
переносить с достоинством потери.
И чьи-то обожжённых два крыла
не позабыть, в их возрожденье веря.
Себя к труду такому приучить.
Ни для кого. Как по приказу свыше.
Да, сколько судеб в дневниках молчит!
А чаще люди дневников не пишут...

ОТЕЦ

Телевизор марки «Рассвет» –
35 по диагонали.
Сколько лет прошло, сколько лет,
мы давно его доконали.

Был отец и такому рад.
Он в экран смотрел, не мигая.
Там военный шагал парад,
как пора его боевая.

Плохо видел и слышал он.
Переспрашивал непрестанно:
«Кто проходит? Какой батальон?
Артиллерия или танки?»

Он комбатом в войну служил,
непарадные знал походы.
И смертельные рубежи
со товарищи брал в пехоте.

У экрана вблизи сидел,
разбирая смутные знаки.
Неподвижно на них глядел,
забывался и тихо плакал.

Много лет прошло, много лет.
Телевизор мы доконали...
А на памятнике портрет –

строй наград по диагонали.

УЧИТЕЛЬ

Разгильдяи, пираты,
смущённо стихали мы вмиг:
в класс входил литератор,
не старый ещё фронтовик.

Двухметрового роста,
а может, казался большим,
он как будто бы грозно
смотрел, как мы нервно молчим.

И в протяжной минуте
ловя настороженный шум,
выговаривал: «Нуте-с,
кого я к доске попрошу?»

Разве дело в ответе,
хорош ли он или он плох,
если в огненном ветре
учитель дал первый урок.

Если в нашем девятом
читал нам стихи про войну,
затуманенным взглядом
отворачиваясь к окну.

Если наши проказы
терпеливо переживал,
но как резким приказом,
вдруг словом до слёз обжигал.

Рваным почерком быстро
писал на шершавой доске.
Мел крошился на искры
в беспалом его кулаке.

Мысль высказывал чётко,
замедлив размеренный шаг.
И светились колодки,
и сыпался мел на пиджак...

ОЛЬХОВКА

Памяти Ирины

Чувствую себя неловко:
не бывал давненько там,
где лежит село Ольховка
по ольховым берегам.

И бежит к воде исетской
речка малая, быстра.
Где учительницей сельской
стала ты, моя сестра.

Где в крестьянский дом невесткой
нерешительно вошла.
В переулке деревенском
четверть века прожила.

Научилась, городская
ловко разжигать очаг,
хлебы печь, соленья ставить
и протяжно окать так.

Вечером, смежая веки,
в сочинениях огрехи
исправляла допоздна.
А теперь – библиотекарь,
с книгами сидишь одна.

В новой школе, как и прежде,
кто-то пишет у доски.
Возвращаются всё реже
бывшие ученики.

Что нашла и что искала,
что свершилось, что прошло?
Но старинное село
для тебя родимым стало.

Вдалеке от шумных трасс
светлая твоя обитель,
навсегда ольховский житель,
старшая моя сестра.

ПОЛНОЧЬ В ДЕРЕВНЕ

Ночь распласталась. Двенадцать часов.
Время сомнений, бессоницы, страха.
Лязгнул в воротах железный засов.
Вздрыгнул и сдвинулся круг Зодиака.

Улицы узкой неясный изгиб

в свете далёком, тревожном и тусклом.
Кто-то к Земле из созвездия Рыб
метеоритом несётся тунгусским.

Может быть, Дева, а может, Весы
шлют нам посредников космосом стылым,
если мы сами сцепились, как псы,
и разобраться без драки не в силах.

Снова рискуют погибнуть они,
как в глухомани сибирской, таёжной.
Но подгоняет их чувство вины –
то, что пока нам понять невозможно.

Видно, вселенское сердце болит.
И путешествуя не для забавы,
чья-то «тарелка» к планете летит
разума дать ей и света добавить.

КАЛЕНДАРЬ

«Давно ли покупали календарь...»
Ю.Левитанский

Мой календарь перекидной,
мой счётчик дней настольный.
Ты целый год прожил со мной,
слуга и друг достойный.
От января до января
ты вёл меня по датам.
Твоим листкам благодаря,
я помнил время свято.
Не только осень и весна,
и лунные явления –
на них хранились имена,
свиданья, дни рожденья.
Не только солнечный восход
и противостоянья –
на них надежд высокий взлёт
и разочарованья.
И не одних светил круги,
и долгота дневная –
мои дела, мои долги,
вся жизнь моя земная.
Мой календарь, ты мне помог
своим шуршаньем нудным,
хотя часы я не берёг,
тем более – минуты.
Мой календарь, слуга и друг,
пришла пора проститься.
Есть новый год и новый круг,
и новые страницы.
И снова мне изведать путь,

в другую даль открытый,
как в бездну космоса шагнуть
с накатанной орбиты.

ГЛОБУС

Люблю глядеть на старый школьный глобус,
вращать его касанием руки.
И слушать, как гудит в земной утробе,
шумят моря, не спят материки.

Обжечь ладонь на кратере вулкана,
скользнуть по льдам арктических полей.
И потеряться в городах и странах
на маленькой, как детский мяч, Земле.

Устало дышит на столе планета,
столетья, как мгновения вобрав.
Стрела, дубина, бомба и ракета
всю жизнь её испытывают нрав.

И кто же знает, что там завтра будет?
В любви и злобе, и в смешенье рас
там копошимся мы, смешные люди,
среди желаний, почестей и дрызг.

* * *

Что-то тянет всё на глобальное,
на планетный влечёт размах.
Где ты, слово исповедальное,
на искусанных в кровь губах?
Для души эта боль – не лакомство,
но пока душа не пуста,
коль несчастье было – поплакаться,
коль вина была – на колени встать.
Горечь горькую всю не выстрадать
ни за годы, ни за века.
Но поможет нам только исповедь,
как бы жизнь ни была тяжка.
Не томить её в тёмном карцере,
зная верно лишь об одном:
повиниться в чём да покаяться
на Руси мы всегда найдём.

* * *

Осень кончается.
Город – сплошные утраты.
Грязь и дожди,

и глазницы окошек пусты.
Улиц безлюдье,
и воздух тягучий, как вата –
так всё и будет, пока не появишься ты.
В доме моём
по ночам злые духи витают,
спать не дают,
доводя до безумной черты.
Что-то сломалось,
измучили душу метанья –
так всё и будет, пока не появишься ты.
В доме твоём
тишина, как в забытом колодце.
Звёзд не видать,
не напиток волшебной воды.
Грустный мольберт
ждёт, когда же хозяйка вернётся –
так всё и будет, пока не появишься ты.
В бога не верю:
не на алтарь – на палитру
взор обратив,
попрошу у неё доброты,
и сотворю я
о возвращенье молитву –
так всё и будет, тогда и появишься ты.

* * *

Толчея и голоса,
чьи-то взгляды, чьи-то лица...
Будет в жизни полоса
с одиночеством смириться.

Дверь с надеждой отворю –
в доме тихо, как в соборе.
Равнодушно посмотрю
на былые шум и споры.

Непривычно одному,
круг общения всё уже.
И живу лишь потому,
что пока кому-то нужен.

* * *

К чему стеснение и неловкость,
К чему сомнения и стыд?
Хочу с великолепной лёгкостью
слова любви произносить.
Хочу их вторить многократно,
хочу раздаривать на «бис».

Ведь даже и пустяк приятный
порой нас поднимает ввысь.
А в самом деле, в самом деле,
зачем какой-то случай ждать?
Так хочется, чтоб мы успели
друг другу о любви сказать.
Не в юбилейный праздник лживый,
не у кладбищенской травы.
Пока мы все на свете живы,
сейчас признаемся в любви.

* * *

Не намечайте рубежи
и промежуточные сроки –
есть только смерть и только жизнь,
как в реках устья и истоки.

Я намечал немало вех,
но рвался путь посередине.
Пустое – временный успех,
лишь голову посеребрило.

БОКС

В поту – как из парилки!
Дышу – как на подъём!
Как будто я на ринге
и лезу напролом.
Ударом полутонным
крушит противник мой,
но сам виновен в том я,
что пропустил «прямой».
Стал ринг, как лёд накатан,
и я, скользя, обмяк.
А зал затих: нокаут?
А зал свистит: слабак!
Нет сил, но что же делать?
А истина проста.
И я при счёте «девять»,
качаясь, должен встать.
И в бой рвануться снова,
улыбку сохраняя.
Весёлого и злого
не знали вы меня?
Упругие канаты
вернут на рубежи.
А ринг, как лёд, накатан,
противник мой, скажи?!

* * *

Скорей бы кончалась зима,
житейская вялая проза.
А то уже сходишь с ума
от злости, тоски и мороза.

Скорей бы движение льдин
рождало весенние шквалы,
Мне радостных этих картин,
как жизни самой не хватало.

Скорей бы весёлый скворец
взлетел на приступок скворешни.
Когда-то же должен конец
прийти неподвижности снежной.

Уже нетерпение жжёт,
торопит весну, как спасенье.
Пусть новое время придёт,
и старых надежд воскрешенье.

Дожди молодые прольют,
проклюнутся свежие всходы.
И с лёгкостью щедро вернут
желанье любви и свободы.

«ВСЁ ЗЕМНОЕ» (1999)

МАЙСКИЙ ВЕЧЕР

Весенний вечер. В городе не спят.
Свет будоражит улицы и парки.
Давай с тобой нальём по полной чарке
за всех погибших на войне ребят.
А на какой – не будем уточнять.
Одна другой кровавее и горше.
Мы загадаем в этот час погожий,
чтоб не случилось что-нибудь опять.

На город опускается весна,
и на деревьях набухают почки,
зелёная испуганная точка
уже в ветвях пробилась не одна.
Приходит долгожданное тепло,
как женщина, в которой сомневался,
но сам ей верен вечно оставался,
и наконец – судьбой двоих светло.

Изменчив май, но нет грозы пока.
Долой плащи и шляпы, и береты.
Пойдём гулять с тобой, анахореты,

по улицам, пронзающим века.
Там, где кино, кафе, машинный блеск,
мороженое, сахарная вата.
Где в память победившего солдата
тревожит высь трёхгранный обелиск.

Пройдёмся там, где ожил старый храм,
и звонница хранит его бессонно,
и звук летит, как ангел со слезою,
и сам себя возносит к небесам.
Где тянет руку пролетарский вождь,
а рядом – банк уже с орлом двуглавым.
И снова нет ни правых, ни неправых,
и все следы смывает майский дождь.

Пройдёмся там, где молодёжи гул,
и музыка в динамиках надсадна.
Где на аллеях городского сада
нам лёгкий ветер волосы раздул.
Витрины дружно выстроились в ряд,
нас поразивший бы во дни канунов.
Заглянем в них и отразимся юно,
какими были много лет назад.

* * *

Никто свой возраст не осознаёт.
Он до поры скрывается искусно,
пока в толпе случайно не мелькнёт
твой одноклассник или же сокурсник.
Не сразу вспомнишь, сколько лет прошло,
когда вы были молоды и вместе,
Но отразит чело его число,
которым жизнь измерена без лести.
И как бы встреча вас не обожгла,
не будет в ней ни вздоха, ни испуга...
Ровесники мои, как в зеркала,
мы с грустью нежной смотрим
друг на друга

* * *

В прошлое кинусь блаженно,
в невоскрешаемый мир.
Здравствуй, полковник Баженов –
отрочества кумир!
Там разбитной ты и праздный
каникулярный студент.
Там сочинитель ты страстный
правдоподобных легенд.

Там ты – удачливый парень,
ловко и весело врешь.
Там на дешёвой гитаре
ты мне концерты даёшь.
Помнишь раскидистый тополь,
облик уютный двора,
и на завалинке тёплой
песенные вечера?
Вижу картину подробно,
дом и крыльцо, и забор.
Там ты со мною, как с ровней,
взрослый ведёшь разговор.
Время давно пригасило
светлого детства черты.
Рыцарство, честность и силу
вкладывал в душу мне ты.
Помнишь ли долгий, неспешный
в школе дворовой урок?
Я, ученик твой прилежный,
в жизни немного смог.
Да и тебя подломила
тяжесть житейских забот.
Рыцарство, честность и сила,
где они – кто разберёт?
Звёзды легли на погоны.
Краткий, сухой разговор...
Что-то же было такое:
песни, завалинка, двор.

* * *

Октябрь и спокойный, и ласковый,
ещё не остыла земля.
Любили же осень классики,
а нам почему нельзя?
Сомнения все напрасны –
какой запретит чудак
влюбиться в осины красные –
осеннего леса флаг.
Кто может сказать насмешливо:
«кончай, не гони кино», –
коль в речке вода неспешная,
как вечности полотно.
И птицы перекликаются,
рассевшись по проводам.
И классики улыбаются,
согласно кивая нам.
Осеннее, тихое, тленное –
его я в себе спасу.
И детство послевоенное
бродит со мной в лесу.
И это всё настоящее,
надолго и навсегда.

Не вовсе же мы пропащие,
ушедшие без следа.

* * *

Время придёт, и опустится свет
к нам поднебесный.
И повторимся мы в жизни планет
дальних созвездий.

Там, где чужие вода и земля,
детство приснится.
Всё возвратится на круги своя,
всё возвратится.

* * *

Существую, как тяну вериги,
но забылся и вошёл я в раж.
По привычке покупаю книги,
не читая, ставлю на стеллаж.

Ну и что, я думаю, успею
полистать когда-нибудь, поздней.
И не замечаю, как старею
в беспощадном беге лет и дней.

И живу, и жду чего-то в мире.
А итог насмешливый таков,
что один останусь я в квартире
немошный и с томиком стихов.

* * *

Две двери предо мною. В какую,
я не знаю, сегодня войти.
За одной я безумно тоскую,
за другой никого не найти.

И сгорело давно и остыло
всё, что было когда-то за ней.
Что влекло к себе неотвратимо
и, казалось, не будет сильней.

* * *

Как разгадать, что медленно, что быстро,
Где время кончится и где его отсчёт?
То жизнь пройдёт, как будто вспыхнет искра,
то бесконечно день один течёт.

Проносится частица в циклотроне.
Родиться и пропасть – её удел.
Но долог миг, когда тиран на троне
иль кто-то смотрит пристально в прицел.

Быстр самолёт, медлительно растенье,
столетьями слагались письма.
И всё же тайна временем владенья
у каждого в душе заключена.

Рассвет в окне остановился мгlistый.
С тобой мы это видели не раз.
Снег падает ни медленно, ни быстро,
а ночь, как прежде, коротка для нас.

КРУГЛАЯ ДАТА

Шурша, опадает листок за листком,
и мой календарь безнадежно худеет.
Но осень, взмахнув разноцветным платком,
ещё задержалась, теплом не скудея.

Приходит сейчас золотая пора,
когда для тревоги всё меньше причины.
И всё, что случилось – случилось вчера,
хоть свиток судьбы до конца не прочитан.

Не буду писать мемуары ни дня,
зачем же бумагу обманывать тщетно.
Но помню я всех, кто любили меня,
а всем, кто обидели – божье прощенье.

А впрочем, итог подводить подождём.
Пока что желанья душою владеют,
и хочется вновь под весенним дождём
беспечно пройтись, на ходу молодея.

А П Р Е Л Ь

В провинции пейзаж в окне беднее,
чем где-нибудь в Нью-Йорке иль Сиднее.
Но не беда. И здесь весной синее
частица неба. Улицы, дома
ещё невинно пребывают в спячке,
и позабыв про зимние болячки,
не ожидают солнечной горячки,

что будет летом их сводить с ума.

Пока – апрель. И дерзкий, и капризный.
То снег пойдёт, то редкий дождик брызнет.
Глаза вздымая к небу с укоризной,
мы покидаем долгий зимний плен.
Уже не верим ни в возврат морозов,
ни в осторожность метеопрогнозов,
хотим забыть хандрозы и неврозы,
мы – в предвкушении скорых перемен.

В апреле шуба стала тяжкой ношей,
но холодно в плаще из тонкой кожи.
Когда-то были в моде макинтоши –
они быгодились и сейчас.
Но быстро всё меняется в одежде,
никто не носит, что носили прежде.
Но как бы дать не умереть надежде,
что время лучше делает и нас...

Балкон открыт. Хозяйка молодая
цепляет простыни полунагая,
куда-то в тайных мыслях убегая,
и улыбаясь, ждёт на randevу.
Весна. На щепку лезет щепка.
Любовь нас держит на планете цепко.
Природа – ей сопротивляться тщетно.
Ведь сказано: пока люблю – живу...

В Нью-Йорке не был. Говорят, там скучно.
В Сиднее воздух тяжкий. Влажно, душно.
И если вдуматься, зачем мне это нужно –
искать судьбу в далёких городах.
Апрель разбил последнюю ледышку
там, где когда-то бегал я мальчишкой,
где был и счастлив, и несчастлив слишком,
где жизнь – сейчас и где потом – мой прах.

ЛОСЬ

Всё прошедшее в сердце спеклось.
И почти не болит. И не надо.
Я сегодня стареющий лось,
безнадёжно отставший от стада.

Я бреду от куста до куста,
равнодушно и глухо ступая.
Закатилась дневная звезда,
и тропа предо мною слепая.

Эту жизнь не ругал я зазря,
мне она до сих пор интересна.
Ещё радостно тянет ноздря
влажный воздух осеннего леса.

Ещё воля клокочет в груди,
ещё голос мой хищникам слышен.
Только чувствую: жизнь позади,
и рогами к земле я всё ближе.

Я молился всегда облакам,
воду пил из реки – не из лужи.
Но не нужен я волчьим клыкам
и охотничьей пуле не нужен.

Потому что и сила, и стать
отзвенели и справили тризну.
Если станут меня убивать –
из меня ни кровинки не брызнет.

Я прошу у последнего дня,
когда рухнет тяжёлое тело,
чтоб шакалы не рвали меня,
и душа в небеса отлетела.

* * *

Та, что притихла, не дыша,
но мною правит так умело,
чем отличается душа
от брэнной оболочки – тела?

О ней художник и монах
бормочут что-то в тусклом свете.
Она для них – особый знак,
который человека метит.

Её не утопить, не сжечь,
она невидима, воздушна.
И всё же, как её сберечь
и зову быть её послушным?

Она болит, кричит, дрожит.
Она карает и прощает.
Она мне помогает жить
и жизнь она отягощает.

И что бы от неё ни скрыл,
всё это тут же прояснится...
Я на земле стою без крыл –
она бесстрашно ввысь стремится.

Не отпускаю. К ней приник.

Храню, как хлеб в году голодном.
Но с нею взмою в смертный миг
и лишь тогда вздохну свободно.

ЗИМНИЙ НАБРОСОК

Снега белы, как простыни в больницах,
чисты, как в юности виденья в снах.
Хотя мы вправе в этом усомниться,
в осбенности, в белых простынях.
Но суть не в том. Кому какое дело,
на чём лежит болезненное тело.

Вопрос в другом: кругом зима настала
с морозами и с посвистом ветров.
И откровенно скажем, больше стало
работы у печальных докторов.
А впрочем, что же? Вновь я отвлекаюсь
от темы. В чём, конечно, каюсь.

Зима пришла. Смеркается быстрее.
Хозяйничает холод на дворе.
Дорогу вдаль снегоуборщик бреет,
могильщик жжёт резину на костре.
Трясёт тряпьём, дрожа, купец челночный,
гремит такси пустое в час полночный.

Зимой в скульптуре тяга к снежным бабам
и к тёплым – в жизни, если подфартит.
В витринах замороженные крабы,
и дорожает овощ-паразит.
Но главное, что жители успели
к зиме законопатить в окнах щели.

Зимою время утекает в холод,
и космос дышит ближе и сильней.
Под одеяла залезает город,
и чаще печи топятся в селе.
Но это не трагическая нота,
мы жили здесь всегда, в таких широтах.

Зато зимой хозяйки на базарах
нам продают из погреба грибы.
И Новый год встречаем мы, и Старый,
и ждём счастливых перемен судьбы.
Однако в холод чёрт-те что нам снится,
а наяву есть опасенье спиться.

Декабрь. Январь. А в феврале метели
скребут узор на стёклах кружевной.

И если мы валяемся в постели,
то не зима, а лень тому виной.
Сверкает в поле снежное убранство,
растягивая время и пространство.

Не дай нам Бог жизнь проиграть вчистую,
а дай желанье чем-нибудь блеснуть.
Опять зима. Крестьянин, торжествуя,
на дровнях обновляет путь.
Как будто – всё. Но пушкинская строчка
в наброске зимнем не рисует точку.

* * *

С чёрным небом, с горьким хлебом,
с войнами
мир выходит на границу века.
Человек с лицом самодовольным
расставляет варварские вехи.
На земной округлой территории
мечемся, как загнанные в угол.
Правит нами госпожа история,
мы – её бездарная прислуга.
Господи, направь меня, безбожника,
подскажи, где истина зарыта.
Окропи то место светлым дождиком
или же пометь метеоритом.
Может, правда, что рука из космоса
нас ведёт, мотая по спирали
то в землетрясенье, то в бескормицу,
то в грызню с кровавыми пирами.
То ли воем выть, а то ли праздновать
с безнадеги и тоски глупея.
Не на небе нас лишили разума –
на Земле убит он в колыбели.
Здесь ли Пимен? Делает ли записи?
Или тоже мучается в коме?
Если я сегодня гомо сапиенс,
как живу я в сумасшедшем доме?

* * *

Я неправильно выбрал век
или век совершил ошибку.
Я хотел бы замедлить бег,
оглянуться, собрать пожитки.
Здесь исчезнув, явиться там,
где в двенадцать – не день, а утро
и в шкатулке из перламутра
завитки и признанья дам.
Крикнуть молодо: «Одеваться!»

И терзая цилиндр и трость,
по проспекту покантоваться
вместе с кем-нибудь или врозь.
И пролётку остановить,
прокатиться столичным фертом.
Что там Гамлет с его Офелией:
быть – не быть? Ну, конечно, быть!
Опьянеть от дыханья сада,
в старом храме зажечь свечу.
А на службу идти не надо –
я в чиновники не хочу.
Завалиться к друзьям с шампанским,
осушить по бокалу враз.
Распечатать подмётный пасквиль
и стреляться бежать тотчас.
Встретить Пушкина на балу.
Онеметь от великолепия.
И вернуться в своё столетье.
И очнуться в своём углу.

ЭТЮД

В небе солнце. Предзимье. Морозно.
Всё застыло вокруг коматозно.
Словно осень охапку тепла,
торопясь, за собой унесла.

Тянет спать. Опускаются веки.
А в селе старики и калеки.
Над домами зависли дымы.
Приглядеться к дымам – это мы.

Завернулись в седые тулупы
и летим отчуждённо и тупо,
покидая жилище и лес,
в ожидании чистых небес.

«ОСЕННИЕ КОСТРЫ» (2008)

* * *

Зачем посещать эту местность, в любви умирая? –
Я здесь прохожу постоянно от центра до края.
И труд невелик, и приятно мне это хождение.
Зачем возвращаться туда, где живу я с рожденья.
Что было когда - то, могу, чуть помедлив, припомнить.
Картину цитатой из юности бедной дополнить.

Конечно, давно в этой местности всё изменилось.
А раньше: в грязи буксовали «Победа» и «Виллис»,
речной парадокс гудел над широким Тоболом,
а степь за рекой убегала куда-то к монголам.
Телеги гремели, травмируя мост деревянный,
и город вставал вместе с утренним солнцем румяным.
Здесь были дома, а точнее – теснились домишки,
а рядом – тюрьма, и по кругу – охранные вышки.
Когда засыпал от усталости мир этот бранный,
голодный прожектор обшаривал дворик тюремный.
Ещё сохранились с могучими сводами бани.
Но бани зачем, если можно блаженствовать в ванне?
Теперь допоздна здесь шумит заведение пивное...
А прошлое призраком бродит неслышно за мною.
Шипит патефон, и танцуют весёлые пары.
И узкие брюки на смену пришли шароварам.
И три моих друга, набравшись нездешней отваги,
на улицу вышли, и пальцем в них тычут:»Стиляги!»
Мне их не собрать, я не знаю, где путь их проложен.
Те годы мелькнули, как сабля блеснула из ножен.
И вот уже вновь прохожу я туда и обратно
от центра к реке среди лет дорогих, невозвратных.
Кричит во мне память, забытое вдруг вспоминая.
И жизнь, как игрушка с пружиной, бежит заводная...

СТАРЬЁВЩИК

Едет старьёвщик в разбитой телеге,
лошадь понуро трясёт головой.
И во дворах, поднимающих веки,
крик раздаётся, как клич боевой:
«Старьё берём! Старьё берём!»

В городе маленьком пыль да ухабы,
бедность, и ценится каждый пятак.
Выйдут к старьёвщику дети да бабы,
вынесут горку тряпья и бумаг.

Что предлагается в фонде обменном? –
Вещь для хозяйства, игрушка, тетрадь.
В жалких сокровищах послевоенных
не промахнись – успевай выбирать.

Вспомнится птичка-свистулька из глины,
шарик блестящий, перо, карандаш.
Скрип колеса утомительный, длинный,
странной повозки весёлый вояж.

Утро и солнце. И добрая кляча.

И под дугой колокольчик-звонок.
Радость в душе от случайной удачи.
Детского счастья под горлом комок.

«Хочу воскресить своих предков»
Б.Окуджава

Мне бы предков своих воскресить,
познакомиться с ними, спросить,
в прошлый век открывая окно:
как вы жили давно-предавно?

Но из дальних сибирских краёв
с ними я говорить не готов,
потому что с течением времён
растерял половину имён.

Знаю: там, где родился Шагал,
я бы корни свои отыскал.
Но следы разметала война,
а теперь там другая страна.

Всё же, предки, привет вам, привет
из холодных и сумрачных лет.
Что ты делаешь, Лейба, печник?
– Ремесло в совершенстве постиг.
Как тачаешь ты, Лев, сапоги?
– В них живут, не снимая с ноги.

Лишь на миг, на мгновенье одно
в прошлый век приоткрыл я окно.
Там встречают в двух семьях гостей
по двенадцать чернявых детей.

Среди них и отец мой, и мать.
Но уже никого не обнять.
Только души их нежно-светлы
нас зовут из заоблачной мглы.

ВОЛЕЙБОЛИСТКА

Волейболистка, комсомолка
из незабвенных прошлых лет.
О них молва почти умолкла,
но их ещё заметен след.
Стремясь безудержно к победам,
за совесть билась – не за страх,
играя в допотопных кедах,
в смешных сатиновых трусах.

Зато каким прогорклым драмам
от сцен великих вдалеке
рукоплескал спортзал «Динамо»
в провинциальном городке.
Великолепную «шестёрку»
вела ты дерзко за собой.
И кто-то плакал от восторга,
кто – от скамейки запасной.

С завидной пущенный сноровкой
комком закрученных подач
шершавой кожаной шнуровкой
в ладонь впечатывался мяч.
Пока судья на шаткой вышке
маячил, как в немом кино,
одно ты видела, как вспышку:
площадки жёлтое пятно.

Какие мячики над сеткой
ты отбивала, пол дробя,
какие мальчики в вельветках
заглядывались на тебя.
Девчонка с непокорной чёлкой
из незабвенных прошлых лет.
О них молва ещё не смолкла,
к ним тонкой лентой вьётся след.

Спортсмены бывшие – плеяда.
Был бескорыстен ваш порыв
на гимнастических снарядах
и на дорожках беговых.
Клубились жарко ваши битвы,
нам заменяя без труда
и театральные софиты,
и луч киношный иногда.

Сражений яростных и страстных
теперь иной кипит поток.
Но не забылся прежний праздник,
где зрителей девчонка дразнит,
сквозь время пробивая блок.

* * *

Был инфантильным и был молодым.
Верил, смеялся, любил и надеялся.
Время прошло. И рассеялся дым
юности светлой, и мрачным я сделался.

С грустной усмешкойзираю вокруг.

В битву душа не рванётся, не бросится.
Лучше молчанья спасительный круг,
чем бестолковая разноголосица.

Часто сижу, недовольно ворча:
толку-то что? И сражаюсь с сонливостью.
Хочется, правда, порою сплеча
вдруг рубануть – чтобы по справедливости.

Возраст старенья. Сомненье грызёт:
сколько осталось? Но жизнь не сознается...
Нет ощущения, что кончилось всё,
есть ощущение, что всё начинается.

* * *

Главное, что мне надо сейчас на свете –
знать, что есть ты
и письменный стол в углу,
что живы-здоровы и счастливы дети,
и солнечный сок растекается по стволу.

Ибо весна, хоть и мерзкое время года:
небо лжёт, и мучает авитаминоз,
это всё же тепло и чувство свободы –
то, что ветер из дальних краёв принёс.

Тополя уже разрешили посадку
на ветви свои
чёрной ватаге грачей.
Значит в природе всё идёт по порядку
независимо от стрельбы и пустых речей.

Время делает непонятное с нами:
в никуда стекая, творит произвол.
Глядя вслед ему сухими глазами,
вижу тех, кто на свет меня произвёл.

Главное, что им надо было на свете –
знать, что есть они,
и есть у них добрый дом,
что живы-здоровы и счастливы дети,
и яблоня у крыльца в цветущем густом.

Вечность пугает – нет из неё ответа.
Ясности хочется, истины нагой.
После весны придёт несомненно лето –
я его встречу или кто-то другой.

Письменный стол в углу, и на нём тетрадка,
ты за стеной,
и время течёт во мглу.

Значит в природе всё идёт по порядку,
и солнечный сок растекается по стволу.

* * *

И вот опять строкой Булата,
её надеждой и слезой,
и музыкой душа объята
с печалью светлой и сквозной.

Его струна звенит, не стынет,
а согревает, как вином.
Ещё кружит троллейбус синий,
но пассажиров мало в нём.

Ещё звучит призыв бессрочный:
«Возьмёмся за руки, друзья!»
Но разорвался круг непрочный,
и жизнь у каждого своя.

Ещё достоинства и чести
негромкий слушаем урок.
Но что-то рыцарей чудесных
всё меньше сотворяет Бог..

Он всё предчувствовал, предвидел.
Мудрец беспечный, глядя вдаль,
был на потомков не в обиде,
лишь улыбался грустно: жаль.

* * *

В тех краях, где живу,
отключают тепло с электричеством.
Это только одна
из привычными ставших примет.
Но я жизни скажу,
обращаясь к ней: «Ваше величество!
У меня к Вам сегодня
претензий особенных нет.»
Не боюсь предсказаний,
не верю в любые пророчества.
Нострадамус и Ванга, –
пожалуй, они лишь не в счёт.
Но я жизни скажу,
обращаясь к ней: «Ваше высочество!
У меня ощущение,
что скоро и мне повезёт.»
А пока потерплю

обязательства и надувательства.
И свободу такую,
что в горле елей или клей.
Но я жизни скажу,
обращаясь к ней : «Ваше сиятельство!
Всё же в Ваших владеньях
лучше стало и веселей.»
Посмотрю, поищу,
чем на свете смогу я утешиться.
И притянет к себе
древней кистью написанный лик.
И я жизни скажу,
обращаясь к ней: «Ваше святейшество!
Мне б терпенья и веры
добавить хотя бы на миг.»
За осенним окном
встанет тёмная глушь нелюдимая.
От корон и от мантий
свет холодный и неземной
И окликну я жизнь,
словно женщину, просто по имени:
«Подожди. Задержись.
Оставайся подольше со мной.»

* * *

Вдали от городов,
там, где асфальта нет,
деревня – пять домов,
и грязный к ней просёлок.
И чистый дух лесной, и тёмный силуэт
старушки у ворот,
как прошлого осколок.
Она вослед глядит и трогает платок.
В её глазах мелькнёт
подобье любопытства.
А где-то в глубине
там долгих дум итог
и жизнь, как верховой,
промчавшаяся быстро.
Оглянешься на миг, таинственно влеком,
и скорби вековой
не сможешь не заметить
в иссушенной руке над выцветшим платком,
и на вопрос немой
найдёшь ли, что ответить?

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

Привокзальная площадь,
перекличка гудков и огней.
Совершите оплошность –
поселитесь, соседствуя с ней.
И покажется: мощно,
как кипящая сковорода,
привокзальная площадь
и бурлит, и клокочет всегда.
Здесь в разорванном круге
истоки проспектов-лучей.
И ни вам, ни подруге
не уснуть среди шумных ночей.

Привокзальная площадь,
ветрами продутый перрон.
Как здесь чувства полощет –
не признаться ни вслух, ни пером.
И минут быстротечность
неизбежно в прощаньи горчит.
И сердито диспетчер
о чём-то в пространство кричит.

Привокзальная площадь
говорлива, как южный базар.
Прячут в сумочки тощий
здесь торговцы случайный навар.
Электричками сонными
едут в город с заплечным мешком,
где огурчик солёный
и бидончик с парным молоком.

Привокзальная площадь –
место сборища жалких бомжей.
Город злится и ропщет,
отовсюду их гонит взащей.
И не глядя в витрины,
от прохожих скрывают лицо,
где троллейбусных линий
и звенит, и сверкает кольцо.

И живёт заполошно,
перемешана, как ассорти,
привокзальная площадь –
и конец, и начало пути.

ГОША

Мокрый снег на лицах тает,
на щеках горчит слезой.
Город грязью обрастает,
погружаясь в мезозой.

В феврале тепло и сыро,
на дорогах гололёд.
Из ближайшего сортира
на округу всю несёт.

Остановка у киоска,
из окошка – поп-музон.
Даун Гоша с папироской
пляшет под магнитофон.

Взгляд его сосредоточен,
подпирает небосвод.
Гоша сам с собой лопочет
и асфальт ногами бьёт.

С головою непокрытой,
весь взъерошен и небрит,
но среди местных троглодитов
он совсем не троглодит.

Он весёлый и хороший,
но сейчас – не подходи!
Что-то злое крикнет Гоша –
оборвётся всё в груди.

Бог его хранит и любит,
не считает дураком.
По асфальту Гоша лупит
грязным рваным башмаком.

Снег закончился внезапно,
ветер тучи разбросал,
и троллейбус динозавром
в древней яме мёртво встал.

Стихла музыка в киоске,
но у Гоши прежний вид:
пляшет на асфальте скользком,
в даль неясную глядит.

Что-то в жизни он смекает,
что понятно лишь ему.
Что звучит в нём, не смолкая,
и не слышно никому.

* * *

« Где-то гремит война»
В. Астафьев

Закончился век двадцатый,
но снова гремит война.
Идут по земле солдаты,

как шли во все времена.

Под хмурыми облаками,
в которых таится вихрь,
идут они с войн локальных,
но мировых для них.

С гор идут и полями.
Прошлое там, в блиндаже,
в будущее – с костылями,
с пулей, застрявшей в душе.

Непроницаемы лица,
только в глазницах жар.
С горячей идут границы,
с той, где «Аллах акбар!»

Всё же остались живы
там, где песок в крови.
Где впереди – чужие
и позади – не свои.

Много они повидали,
смертных протопали троп.
Мрачно глядят на медали,
береты сдвинув на лоб.

* * *

С детьми не ссорятся.

Нет ничего страшней,
когда случится всё-таки размолвка,
увидеть взгляд и сумрачный, и колкий,
и по лицу метанье злых теней.

С детьми не ссорятся.

Их слушают, скорбя,
когда они капризно и сердито,
и резко наступают на тебя
с вопросами, упрёками, обидой.

С детьми не ссорятся.

Их просто нет – детей.
Есть взрослые одной с тобою крови
с душой, побитой тяжким нездоровьем,
казавшейся, что нет её святей.

С детьми не ссорятся.

Но принимают их,
какими они есть, какими стали.
И груз вины не делят на двоих,
а обречённо на плечах своих
несут, сжимаясь в боли и печали.

ИМЯ

Если нет желанья жить,
если душат мрак и злоба,
надо только приоткрыть
книгу с именем особым.

С кратким именем простым,
навсегда для губ удобным.
Лёгким, тающим, как дым,
быстрым, выстрелоподобным.

И пронзающим до пят
от лысеющей макушки.
Приоткройте, бросьте взгляд
в книгу – обожгитесь: Пушкин!

И поправ наверх
под напор строки могучий,
устремиться в облака
на немислимые кручи.

И светлее став лицом,
от зеркал отпрянув тёмных,
с дураком и подлецом
расквитаются достойно.

И как будто нет седин,
вверх, под потолок – подушку:
Ай да Пушкин, сукин сын, –
и подпрыгните, как Пушкин!

ГОРОД

В. Маленкову

Город медленный, серый, вчерашний,
где мне каждый проулок знаком,
расставаться с тобою не страшно,
но страшной не вернуться потом.

Пыль копытами к тучам взметая,
здесь прошла Золотая орда.
Ветер северный в город влетает,
ветер южный гудит в проводах.

Как в гнезде, разместился в низине

среди задушенных гиблых болот,
погружаясь в трясину незримо,
но в расчёте на завтрашний взлёт.

Жизнь стекает по капелькам в Лету –
береги её – не береги.
Думал я: никуда не уеду,
если даже распнут за грехи.

Пуповиной навеки привязан
к тихим улицам, старым домам.
Здесь приязни мои, неприязни,
бедной юности светлый туман.

А под старость такая морока –
всё опять начинаю с нуля.
Позвала, поманила дорога
и за дальнею далью земля.

Город медленный, серый, вчерашний,
где мне каждый проулок знаком,
расставаться с тобою не страшно,
но страшней не вернуться потом.

По живому – ножом. Уезжаю.
Не пойму – не кривляюсь, не лгу –
то ли Родина мне задолжала,
то ли я перед нею в долгу.

Не торгуюсь. Не время. Не место.
Слабый лепет. Невнятная речь.
И нельзя, уходя в неизвестность,
озирая тоскливо окрестность,
ни с собой её взять, ни отсечь.

* * *

Дом сменить, как будто шкуру
с самого себя содрать.
Мучая мускулатуру,
стану вещи собирать.
Отодвину шкаф с диваном,
вековую пыль вдохну.
Дни проплыли караваном,
утекая в тишину.
Сняты шторы и гардины,
даль колыхнется в окне.
Что мы тут нагородили,
объяснит ли кто-то мне?
В старом доме всё знакомо:
гвоздь в стене и скрип двери.
Думал, это аксиома:
где родился – там умри.

В кухне кран, как дятел долбит,
издаёт своё «кап-кап».
Жизнь была правдоподобной,
словно взятой напрокат.
Опустел почтовый ящик,
адрес новый у жильца.
Жизнь была ненастоящей,
словно маска без лица.
Где оригинал, где слепок –
разбираться нынче лень.
Брошу место напоследок
с вмятинами от колен.
А в покинутом жилище,
где пируют мураши,
только зябкий ветер свищет
на помин моей души.

* * *

Живу под крышей черепичной
в цивилизованном краю.
Похлёбкой сытой чечевичной
я утешаю плоть свою.

Вокруг раскидан град ганзейский,
куда спешил, зачем – невесть.
Здесь меньше зла и фарисейства,
хотя хватает их и здесь.

Шумя толпой разноязыкой,
он то приветлив, то жесток.
То раздражённым глазом зыркнет,
то взнежит доброты росток.

К его стальным пересечениям,
к портовой сгорбленной волне
в душе рождается влечение,
ещё неясное вполне.

Он в храмах, парках и музеях,
в булыжнике на мостовой.
Он в репербановских мамзелях,
что тоже – символы его.

Столетия в городе истлели,
как старых лодок паруса.
Но шпиль святого Михаэля
всё так же рвётся в небеса.

Мчит городская электричка.
Минувший день, как ноша с плеч.
Живу под крышей черепичной,
хочу понять чужую речь.

Натужно преодолеваю карму,
веду извечный спор с судьбой,
куда, как в гавань входит Гамбург,
накатывающий, как прибой.

* * *

Как будто и не уезжал.
Ни расставанья, ни прощанья.
И сонный аэровокзал
не бил тоскою беспощадной.
Всего какой-то краткий год,
промчавшийся метеоритом –
я снова здесь, встречай, народ,
небритого космополита.
Из дальних мест приковылял
на двух крылатых колесницах.
Но для дурного кобеля
не расстоянье – три границы.
Сто вёрст – не крюк, и поезда
меня трясли, как тарантасы,
чтоб вспоминались иногда
судьбы дорожной выкрутасы.

День удивительно погож,
пропели первые капли.
В своём краю стою, как «бомж»
с лицом потеряннм, без цели.
Синеет март, и месит грязь
неповоротливый автобус.
Всего-то подо мной, искрясь,
меж облаков крутнулся глобус.
Всего-то в небе голоса,
и взмах стального оперенья.
И часовые пояса
моё укоротили время.
Стою, как в эту землю врос –
лишь пляшут желваки на скулах –
среди луж и ледяных корост
в разбойном мартовском разгуле.
Я не отсутствовал ни дня.
Склоняю голову покорно.
И словно слышу, как меня,
скрипя, обхватывают корни.

* * *

То ли зверь, то ли птица кричит
за окном в неразбуженном парке.
И предутренний воздух горчит,
как прощальная чарка.

Просыпаюсь. Вцепившись в кровать,
повторяю любимую ересь,
говорю: неохота вставать,
никогда не хотелось.

Чем сразит наступающий день,
что несёт он в себе обречённо?
То ли свет, то ли рваную тень,
то ли занавес чёрный?

Попытаться бы жить без вестей,
обесточить экранные страсти.
Ни газет, ни звонков, ни гостей,
ни друзей безучастных.

И за ширму – в глубокую тишь
где-то спрятаться – фокус коронный.
Одиночку ни с чем не сравнишь
или угол укромный.

Притаиться за скучным дождём,
не надеясь на небо в алмазах.
Победил или сам побеждён,
если с миром не связан?

Растеклись по дорогам ручьи,
разгорается солнце неярко.
То ли зверь, то ли птица кричит,
словно хочет остаться в ночи
и разлуку накаркать.

* * *

Е.Е.

Мой собеседник знаменит.
Его же собственная слава
туда покорно семенит,
куда он сам её направит.

В рубахе яркой, расписной
он чуть комичен, чуть вальяжен.
Но точен жест, и взгляд прямой,
и скажет – словом не промажет.

Он в речи весь – порыв, напор,
как будто в молодости бурной.
Ещё со стадионных пор
он чувствует себя трибуном.

Шестидесятников кумир

из поэтической обоймы,
поверившей в свободы миф
в стране стабильно несвободной.

Исколесивший белый свет
от пальм до ледяных торосов,
он всюду – больше, чем поэт,
хотя поэтом быть непросто.

То сбили влёт, то пуля – в лоб:
со сколькими уже простились.
Стихи взахлёб и жизнь – взахлёб,
мудр в 20, в 70 – задирист.

Открытый всем ветрам времён,
как в чистом поле уязвимый,
обруган был иль восхвалён –
тянулся ввысь ростком озимым.

Кто над стихом свершает суд,
пусть глубже и честней пропашет...
А снега белые идут.
А Стеньку Разина везут.
А Бабий Яр всё так же страшен.

* * *

Нам нечего делить.
 Ни сгнувшей державы,
ни банковских счетов,
 ни звонких медных труб.
Над нами распростёр
 крыла орёл двуглавый,
и старый новый гимн
 слетает с горьких губ.

Нам нечего терять.
 В «хрущёвочке»-квартире
обшарпанный диван да колченогий стол.
Мы сами с детских лет затеряны в Сибири,
где кандалов следы ещё не стёр простор.
Нам не о чём жалеть.

 Ни о правах наследных
на торжество легко отвергнутых идей.
Ни о своём вранье
 и рапортах победных
в хрипучих голосах
 дряхлающих вождей.

Нам не о чём мечтать.
 Не обернутся раем
обещанные вновь достаток и уют.
Но с жизнью мы игру
 достойно доиграем,
пока над нами синь, где облака плывут.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

Учить немецкий – дохлая затея,
когда ослабевает с жизнью связь.
Слова выдавливать, стыдливо рдея,
wie bitte? - переспрашивать, смутясь.

Все говорят: вот Шиллер, Гейне, Гёте –
языковой, культурный капитал.
Но ясно же: ни при какой погоде
я их в оригинале не читал.

Увы, не смог. И вроде бы – не трутень,
грызу учебник, улучив момент.
Ведь знал же Ленин, шпрехает же Путин –
наш непростой российский Президент.

Нет, видно, не наступит в речи беглость.
Она – мечта, химера и мираж.
Болтал с трибуны бегло некто Геббельс –
послушаешь –и нынче бьёт мандраж.

Не то чтобы в песок башкой, как страус,
(хоть страус ни при чём здесь – он не трус),
но на стене увидел надпись: Juden raus! –
и вздрогнул, как почувствовал укус.

Подруга-немка, с ней приятно знаясь,
душа святая, Бог её храни! –
Вздыхнув, сказала: «Это неонаци,
немного их, но есть у нас они.»

Язык немецкий – он не этим славен.
Но впрочем, и в Отечестве родном
меня подальше тоже посылали
великим и могучим языком.

Хоть здесь, хоть там – повсюду ты не местный,
лишь ветер лупит братски по плечу....
Так что сказать вам про язык немецкий? –
А что немецкий – мучаюсь, учу.

* * *

Повалили в церковь на поклон
неумело каяться, креститься,
бить ему, Всевышнему, челом
проходимцы, воры и убийцы.

Для братвы и вправду удобняк:
очищают совесть многократно.
Бог простит – он истинно добряк –
или же священник бородатый...

Золотым не кланяюсь крестам,
верить никому не запрещаю.
Но греша – за всё отвечу сам,
не прося прощенья, не прощая.

Долго душу мучаю потом,
жизнь не облегчаю ей по блату.
И себя молитвенным щитом
я не ограждаю от расплаты.

Иногда в отчаянные дни,
продираясь сквозь колючки терний,
всё ж прошу: коль есть Ты, вспомяни
тех, кто на Земле так долго терпит.

* * *

Как головой на плаху,
ложусь в объятья сна.
Меня ночные страхи
изводят допоздна.

То за окошком скрипы,
то шорох за стеной –
стенания и всхлипы,
и боль уже со мной.

И мысли скачут, точат
и мстят, как Робин Гуд,
пугают и пророчат
и к пропасти влекут.

Рука – на грудь, левее,
где стало горячей...
И вечностью повеет
от всех календарей.

Такой-то день и месяц –
печальное число.
Но в этом самом месте
усну я тяжело.

И хмуро утро встретив,
соображу с трудом:
а на каком я свете,
на этом или том?

Следы ночного страха,
как тусклый негатив.
Я жив ещё однако.
Я, слава Богу, жив.

ВОКЗАЛ В ГАМБУРГЕ

«Но видит Бог, есть музыка над нами,
дрожит вокзал от пенья аонид.»
О.Мандельштам

Как привольно классическим нотам
по вокзальным бродить уголкам.
Подниматься к расплывчатым сводам,
вырываться к сырым облакам.

Растекаться над серой громадой,
и не зная границ и оков,
всё вокруг пропитать ароматом
запорошенных тайной веков.

В пику грохоту, свисту и лязгу,
мельтешенью рекламных огней
дама в шляпке с вуалью, в коляске,
промелькнёт, как в театре теней.

Птица времени к небу взметнётся,
с новой силою грянет оркестр.
Это Бах и Чайковский, и Моцарт
заполняют пространство окрест.

Посылают спасения звуки
суетящимся толпам вослед,
заглушая колёс перестуки
и отчаянье нынешних лет.

На вокзале она или в храме,
или там где идут корабли –
есть же музыка где-то над нами
в неохватной для глаза дали.

МОЦАРТ

Историк роется в столетях:
совместны ль гений и злодей?
С мелодией «Волшебной флейты»
уходит Вольфганг Амадей.

Он в будущее стал посыльным,
когда свободна и легка
весёлых клавиш клавесина
коснулась детская рука.

Ему рукоплескала Вена,
Европа музыки ждала.
Казалось, чистых нот мгновенно
взлетала стая со стола.

И взмахом палочки небрежным,
и шёпотом влюблённых уст
повелевал он звукам нежным
кружить в сопровожденьи муз.

Князьям служить не удосужен,
в себе взрастил бунтарства дух.
Но ждал смиренно смертный ужин
и оставался к сплетням глух...

Что в поздней исповеди старца,
в признаньи ядовитых стрел?
Кто б знал Сальери и Констанций,
когда бы Моцарт так не пел?!

Он на судьбу свою не ропщет
вдали от склок и передряг,
затерянный в могиле общей
среди скоморохов и бродяг.

* * *

Нынче утром дождит.
Подниматься не хочется рано.
Слушать струйный поток
да безмолвно глядеть в потолок.
И к тебе унестишь,
перескакивая меридианы,
через тысячи вёрст
за мгновенье одно на восток.
Вижу: солнце в зенит
поднимается майской дорогой,
и неожиданно тепло
за Уральской замшелой грядой,
там, где прожили мы
и немало с тобой, и немного,
то как в пропасть скользя,
то взбираясь к вершине крутой.
Если взять города,
то сравненье не в пользу пенатов.
Но сегодня скажу,
что печаль не об этом моя.

Потому что душа,
 как нестройная стая пернатых,
за тобой улетает
 в звенящие детством края.
Здесь всё время сквозит.
 С двух морей разгоняются ветры,
точно пробуют сдуть,
 что записано мной на скрижаль.
Привези мне с Урала
 щепотку горячего лета
и осколки той жизни,
 которую всё-таки жаль.
Дождь прошёл.
 Сладко ноет под левой лопаткой,
и в груди от предчувствий
 прозительно что-то кольнёт.
Под портретом твоим
 загорается ясно лампадка,
и с небес опускается,
 дрогнув крылом, самолёт.

**«В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА»
(2012)**

* * *

Над старым дощатым причалом,
над медленной тихой рекой
нас бережно детство качало,
а юность махнула рукой.

На улицах узких и пыльных
под крики горластых грачей
свои мы торили тропинки,
как тонкий весенний ручей.

Каким-то немислимым ветром
заносит туда нас ещё,
где время под музыку «ретро»
ни шатко-ни валко течёт.

И день ощущается длинным,
мгновением кажется ночь.
Где судеб начертаны линии,
и нам изменить их невмочь...

* * *

Зачитался Томом Сойером.
Видно, что-то не добрал
в детстве неблагоустроенном
среди барачного добра.

По двору зелёной скатертью
растлился конотоп.
Не было кладоискательства,
приключений, тайных троп.

Лишь баталии военные,
деревянные мечи.
Да раздумья сокровенные
в утешительной ночи.

Да с подёргивньем плечиком
под сиренью, на скамье,
смех соседки Бекки Тэтчер,
расположенной ко мне.

В речке солнечной купание
вплоть до посинелых губ.
Да мальчишечья компания
на песчаном берегу...

Там следы мои рассыпаны
у прогнившего моста.
Но река – не Миссисипи,
и не те совсем места.

Нет, я с детством не рассорился,
им довольствуюсь вполне.
Но читаю Тома Сойера,
плот качает на волне.

ТАНЦПЛОЩАДКА

Танцплощадка в горсаду
за обшарпанным забором,
платный вход,
а денег нету ни гроша.
Что мне стоит, пацану,
подтянуться до упора,
спрыгнуть вниз легко,
акацией шурша.
Мне, по чести говоря,
танцевать и нет охоты,
нам с дружками
нужен риск, адреналин.

Накатила волною грусть
белым цветом густых магнолий.

Скрылись каждый в свою страну,
флаги гордые водрузили.
Вспомним чёрные лимузины,
власть Советов на всех одну.

Не отыщется вмиг ответ:
было худо ли, хорошо ли? –
Только дружеских тех застолий,
как в пустыне, затерян след.

К прошлым дням замечает путь,
нынче память – товар лежалый.
Вот бы в будущее заглянуть –
да уже не успеть, пожалуй...

* * *

Снова смерть забирает друзей,
выбивает из строя прицельно.
Чьей душе догонять сизарей,
чьей судьбе экспонатом в музей? –
Но к живым номерок не прицеплен.

Слишком рано ушли в никуда
из времён нищеты и острожья,
свысока посмотрев на года,
что больны лицемерьем и ложью.

Им открылась дорога своя
за чертой рокового итога.
Жаль, нельзя избежать забытья,
не сейчас – так позднее немного.

Не с того ль безотчётная грусть
по знакомым следам навестила...
Не в неизвестность пропасть я боюсь –
я проститься навеки не в силах.

ПРОВИНЦИЯ

Не жил в столицах, избегал тусовок.
В знакомых нет ни королей, ни принцев.
Как вал во втулку, был я запрессован
с рождения в глухой тупик провинции.

Там солнце поднималось еле-еле,

потягиваясь на востоке сонно.
А в огородах помидоры зрели,
и всё дышало воздухом озонным.

Там время тормозило на ухабах
и застревало старой «пятитонкой».
Лишь в кабаке, в оркестре, шустрый лабух
его взрывал отчаянно и звонко.

Клубилась зелень в улочках невзрачных,
и некуда бывало торопиться...
Нас в жизнь швырнула, как котят незрячих,
со вздохом сожаления провинция.

Во мне её и замкнутость, и дикость,
боязнь аэропортов и вокзалов.
Медлительность, сомнений многоликость –
всё то, что нынче лишним оказалось.

Во мне её доверчивость, смущенье,
сентиментальность, удивленье, жалость.
Терпенье, пониманье и прощенье –
всё то, что нынче странным оказалось...

Мне повезло, что я пришёл оттуда
произведеньем местного пошиба.
Мне повезло, пока не дал я дуба,
провинции пробормотать «спасибо».

ФЕРМЕР

А.Х.

Я поеду в деревню к Артуру.
Чтоб отвлечься – хороший рецепт.
Подивлюсь на жилья кубатуру,
западу на кавказский акцент.

Стол в гостинной, как взлётное поле,
сядет сотня: пируй – не хочу,
по-армянски, по-русски глаголить
и друг друга трепать по плечу.

Дом добротный торчит изваяньем
над рядком покосившихся крыш.
Над раздраем, чинушами, пьянью –
разве чем-нибудь их сокрушишь?

У Артура хозяйство – что надо.
Сеет хлеб и разводит гусей,
и коров полновесное стадо –

есть, чем потчевать частых гостей.

Он не спросит, какая дорога
в дом к нему в этот раз привела.
Приобнимет: «Живём, слава Богу,
слава Богу, в порядке дела.»

Хрипловатый неправильный говор –
с русской речью не сладит никак.
На картине и небо, и горы,
за окном крутобокий овраг.

Руки в тёмных набухших прожилках,
Жизнь – не сахар, тем паче – не мёд.
Чем-то Русь его приворожила,
чем – и сам он уже не поймёт.

Сыновья в городские квартиры
подались, может быть, навсегда.
Хоть не лодыри и не кутилы,
да зачем им полынь-лебеда?

Никому ничего он не должен,
в ноги падать другим не привык.
У начальства не шаркнет подошвой,
не прикусит от страха язык.

Виден дом его всем издалече
за весенней цветастой пургой.
Серый свитер, сутулые плечи.
Щедрый жест : «Прахады, дарагой!»

ЕМЕЛЯ

От разбойных ветров хмелея,
стосковавшись по чудесам,
едет сонный дурак Емеля,
а куда – и не знает сам.

Впрочем, ясно: мужик не глупый,
с виду прост, а внутри – хитрец.
Провалялся он до полудня,
отлежал себе весь крестец.

Надоело дремать в постели.
Разбудил не царёв указ –
прокатиться решил Емеля,
стены – в стороны, тачка – класс!

Печки русской дымок струится –

с электричества что за прок.
Пусть завидует заграница,
как увидит вперёд рывок.

Здесь наезженной нет дороги,
а Емеле всё нипочём.
Улыбается , свесил ноги
да и едет своим путём.

В золотые ль попасть хоромы
или шмякнуться где в овраг.
Вознесут ли его, схоронят –
всё равно ему, будет как.

Пронесёт, авось. Веря в диво,
знай, про щуку себе шепчи
да бодрее бубни мотивы,
да посиживай на печи.

РОКОССОВСКИЙ

К победному готовы маршу
полки, овеянные славой.
На вороном – вдоль строя маршал
на фоне жертвенной державы.
Дождь с неба падает отвесно,
как дробью – по брусчатке капли.
И для приветственного жеста
приподнимает маршал саблю...

Кто помнит рослого драгуна,
неутомимого рубаку,
войну далёкую, другую,
служак с Георгиевским знаком?
Уйдя на фронт, простился с Польшей,
она взглянула с укоризной..
Туда он будет призван позже,
оттуда – с вежливостью изгнан.

Но в долгих днях до этих сроков
узнал судьбы оскал шакалий
в кавалерийских эскадронах
от Пскова и до Забайкалья.
«Шпионом польским и японским»
в «Крестах» с чекистскими забавами,
оставшись сталинским апостолом,
но с выбитыми зубами.

А в сорок первом был обласкан
Москвой, когда бессонным стражем

в разброде под Волоколамском
«Тайфун» утихомирил вражий.
Хоть он сказал бы, чуть застенчив,
уже устав от агитпропа:
«Столицу спас не я, а те что
там полегли в гнилых окопах.»

Но это имя зазвучало
подобьем грозного раската,
когда, как загнанный волчара,
взвыл враг в развалах Сталинграда.
И это имя – как щелбаном
по лбам с высокомерьем прусским,
когда им врезала не слабо
дуга, разжатая под Курском.

Сразившись с полчищем бесовским,
как на Руси во время оно,
не опозорил Рокоссовский
святых знамён Багратиона.

В нём от природы дар стратега,
предвиденье, как выиграть битву.
Но даром веры в человека
ещё он больше был пропитан.
Пусть кто-то властью обколосся
в кровавых сполохах и бликах...
В том и величье полководца –
не выглядеть, а быть великим.

Его затмил могучий Жуков
тяжёлой статуи громадой.
Но та же память – сабля внуку,
клинок с победного парада...
Он у стены лежит кремлёвской,
прожив без шелухи словесной,
драгун и маршал Рокоссовский
в ряду с солдатом неизвестным.

ИНТЕРВЬЮ

Не забыть,
как в гостиничном номере тусклом,
проявляя вежливость и хороший тон,
знаменитый артист
Сергей Юрьевич Юрский,
как заправский швейцар,
подавал мне пальто.

А я, дёргаясь
и волнуясь от смущенья,

отнекивался,
не попадал в рукава.
– Что вы, что вы,–
облегчал он мои мученья.
– Вы – мой гость,–
мягко падали его слова.

И, улыбкой подбадривая добродушной,
проводил,
под локоть поддержав, до двери,
за которой холодной волною воздушной
мне лицо остудило
и жар мой внутри.

А до этого мы говорили о чём-то,
видимо, о театре, стихах, о судьбе.
Помню лишь,
что рассказывал он увлечённо
почти без вопросов,
как самому себе.

Я держал микрофон,
сжавшись в углу дивана,
думая тоскливо,
как монолог прерву,
и видел:
образы сходят ко мне с экрана
плавно в так называемое интервью.

Иногда его голос взвивался победно,
а когда мрачнел –
звал я фразу одну:
– Что вы, что вы,
дорогой наш товарищ Бендер,
катит дальше
верная антилопа «Гну»...

А раньше
стоял он, светом рампы окрашен,
как вдохновенный импровизатор в кино,
и пушкинской строчкой зрителя будоражил,
в зал бросая её,
в глубь, туда, где темно...

Что ещё там? –
Но память, как после утруски.
Только выпукло:
стыд и неловкость за то,
что в гостинице
сам Сергей Юрьевич Юрский,
как заправский швейцар,
подавал мне пальто.

ПАМЯТИ А.ВОЗНЕСЕНСКОГО

Строчки со сцены звучали запальчиво.
Молодость, смелость, азарт.
Голосом, жизнью за слово заплачено,
финиш – как старт!

Не был он сроду в занудах и нытиках,
спящее – разбередил.
В душу ворвался Политехнический
счастьем в груди!

Как обожал он слова-перевёртыши,
звонкий разбег видеом.
«Оза!» - кричит он в морозную форточку –
Зоя и дом.

Все мастера им воспеты восторженно,
им же пристыжен прогресс.
Честно вытаскивал, не осторожничал,
совесть на крест.

Стал Поэтархом, стихов виночерпием,
взломщиком схем и систем.
Было ему на роду предначертано
77.

И, уходя, как звезда за околицу,
из Переделкинских дач,
внятно шепнул возвратившимся голосом:
«Время, не плач!
Через твои повороты и рытвины
к рифмам прорваться пришлось
болью, молитвами, рваными ритмами.
Нынче мы – врозь».

Не отпускают. Звенящими нитями
тянутся в тёмный провал.
Слышет ли там их Борис Леонидович? –
«Слышу», – сказал.

БОРИС РЫЖИЙ

Боря Рыжий – уралец, земляк
по Свердловску, Челябину, Кургану
продирался сквозь жизненный мрак
в маске ухаля и уркагана.

Бесшабашный профессорский сын
стал поэтом и двигал науку.
Но остался один на один
с неотступным недугом и скукой.

Горький пепел судьбы вороша,
выворачивал юную душу.
Не заметил, как слава пришла,
не поверил, что жизнь хороша,
отвернулся и дрогнул, не сдюжил.

Голос честной и нежной струны
типа песни умолк на рассвете.
Только охнуть смогли друганы:
выпивохи, бандиты, поэты.

Только вскрикнуть успела родня.
А отец, разбирая тетради,
над стихом до последнего дня
сердце слабое тратил и тратил.

* * *

Жизнь была, как сухой букет,
что похож на живой до срока.
А затронь – пыльный шорох лет,
и ни запаха нет, ни сока.

Скукотища и преснота
сонной той поре сообразно,
видно, названной неспроста
и застойною, и маразмной.

А восторг проявлялся к тем,
кто всегда, как охотник, рыскал,
пробивая недвижность схем,
обожая безумство риска.

Кто, разинув рот, не проспал
неожиданный свежий ветер
и совковой страны распад
вдохновенно и ловко встретил.

Мы же, став от свобод смелей,
собрались и простились в спешке.
И рванули с земли своей,
как подпольщики из-под слежки.

Там осталась одна молва
и минувшие годы в коме.
Здесь живых цветов дополна,
да немного их в нашем доме...

* * *

Что-то нынче зима
в наших влажных краях задержалась.
Ей давно бы пора
отступить на свои Севера.
Но щекочет асфальт
затвердевших снежинок шершавость,
и не сник снеговик,
что слепила вчера детвора.
Близ равнины морской,
здесь и снег, и метель непривычны.
Но сегодня с утра
бились белые хлопья о дверь.
Колобродит природа,
а, может быть, шутит Всевышний,
что по сути – одно,
хочешь верь в это или не верь.
Только мне всё равно:
с малолетства к морозам приучен,
пережду терпеливо
настигшую нас кутерьму.
Поброжу по мостам,
постою у подстывших излучин.
Время – камни собирать,
наполняя пустую суму.
Скоро грянет весна.
Солнцем выжгутся снежные тромбы.
Но я знаю о том,
что дурила зима неспроста.
Время – вины прощать
и прощенья просить принародно.
И неважно за что –
лишь бы совесть взывала с креста.

* * *

На грудь четвёртого человека равняйся!
Строевая команда

Я стоял в строю пионерском
и в спортивном стоял строю.
А сейчас и равняться не с кем,
одинок и сгорблен стою.

Влагодой здесь небеса богаты,
нескончаемый льётся дождь...
Где б ни жил на земле покатою,
в сердце – зябко, по телу – дрожь.

Не люблюсь на мост ажурный,
мимо – улиц и площадей.
Что мне Гамбург архитектурный,

если жизнь не щадит людей.

Что мне портики и пилястры
или мраморный ряд персон,
если реже всё слово «Здравствуй!»
и всё чаще прощальный звон.

Впрочем, плакаться нет охоты.
Тучи тянутся над рекой.
Что сильнее плохой погоды?—
Одиночество и покой.

Хлестануло намокшей веткой.
Вспомнил строй и сомкнул уста.
В грудь четвёртого человека
посмотрел, а там – пустота.

ГРУППА НА ЯЗЫКОВЫХ КУРСАХ

Ритмы сердца, как морзянка,
я её не укрошу.
Молодая китайка
на меня глядит вприщур.
Азиатка, симпатюшка,
не помеха – глаз разрез.
Нашептать бы ей на ушко,
что подсказывает бес.
Подмигнуть бы ей лукаво:
подружиться, мол, не грех.
Где б мы только ни блукали
в отдалении от всех.
Я бы с ней в Китай поехал,
хоть об этом не мечтал.
Рис бы сеял без успеха
и Конфуция читал.

Всё бы так – но взгляд налево –
боже мой, зачем тянуть?—
С шоколадной королевой
лучше в Мексику рвануть.
Разудалая мулатка –
южный, стройный кипарис.
Как сказать ей словом сладким,
что она – желанный приз?
Я бы с ней в просторах прерий
проскакал всю жизнь верхом
и, танцующий в сомбреро,
звонко щёлкал языком.

Всё бы так – но вот напротив

вижу я: лицом нежна,
восседает, как на троне,
персиянская княжна.
На колени перед нею
встать бы молча, не дыша.
Разлучить нас не сумеет
грозный папа – падишах...
Но в глазах у девы пусто,
рано с радости вприсяд.
Нас в Иран с княжной не пустят,
ей измены не простят.
Там исламские прикиды,
ходят женщины в чадрах.
Шаха нет, но есть шахиды,
от которых смертный страх....

Оглянусь, вздыхая кратко.
В классной комнате уют.
Здесь еврейка и арабка
вместе чай индийский пьют.
Не надеясь на Мессию,
на Пророка в вышине,
распри запросто осият
и не вспомнят обо мне.

Русь Великая, Карибы,
африканский континент.
Нам даёт богатый выбор
славный женский контингент.
Хорошо бы выбор этот
был важнее всех иных:
не меж бомбой и ракетой –
меж красоток записных.

АПРЕЛЬСКИЙ МОТИВ

Даль дымится, как сквозь стекло,
и на улице припекло.
У апреля свои заботы:
он галантно привёл весну,
солнце вытащил, как блесну –
мы клюём на неё с охотой.

Хорошо всё же – свет с небес
для души да и для телес.
Вместе страждущим или розно
враз становится веселей
и уютнее на Земле,
даже тем, кто отлит из бронзы.

Неподвижно они стоят,
их невидящий грустен взгляд,

одолели тяжкие думы.
О своей ли судьбе печаль,
или смертных вокруг им жаль,
или что-то ждут от фортуны?..

Разыгрался апрель-хитрец,
он-то знает, ушлый юнец:
солнце выплыло ненадолго.
Но смеётся и ловит нас,
летних мод торопит показ
и, счастливый, бежит в футболке.

Что ж ты, парень, спешишь куда? –
Холодна и темна вода.
Зелень всходит лишь на пригорках.
Птиц пока осторожен свист,
под ногой прошлогодний лист,
в землю втоптаный, пахнет горько.

Подожди, апрель, хоть чуток.
Дай ещё раз тепла глоток –
неизвестно, что дальше будет.
Потому что среди планет
на родимой покоя нет,
нет ни памятникам, ни людям.

* * *

Парис увёл жену у Менелая,
и началась Троянская война.
Конечно, интересна жизнь былая:
сражения, героев имена.

Ахиллом, например, повержен Гектор,
оплакивает сына царь Приам.
Но пал Ахилл, стрелой настигнут меткой,
и осквернён поздней Афины храм.

Трагедии, любовные сюжеты,
предательства, измены, гнев Богов.
Десятый год страдания и жертвы,
и Геллеспонт шумит у берегов.

Античный мир – роскошный, жёсткий, грешный,
всё ж он далёк от нынешних времён.
Я знал парней, прошедших ад кромешный,
где каждый мог сто раз быть погребён.

Те дни для них – немолкнущая рана.
Что им до древнегреческих могил –
ещё вчера их жёг огонь Афгана,
им всё равно, кто в Трое победил.

* * *

Дни становятся короче.
Тяжко серым небесам.
Свет, зажжённый среди ночи,
бьёт нещадно по глазам.

Взгляд прорвётся сквозь ресницы,
тени вздрогнут на стене.
Не поётся и не спится
в напряжённой тишине.

За окошком дождь запойный,
монотонна речь его.
Что-то нынче беспокойно –
непонятно, отчего?

То ли осень сбила с толку,
как цыганка без умолку,
мне гадая по руке.
То ль, простившись ненадолго,
ты пропала вдалеке.

* * *

Что услышать хотел в стоне леса предзимнего,
что теперь обнажён и смущённо позирует?

Что услышать хотел? – Мысль свербит окаянная:
смерти нет, просто смена времён постоянная.

Смерти нет! – Крикнет птица мне с ветки ли, с неба ли.
Смерти нет! – Так и жизни фактически не было.

* * *

«Стыд – не дым, глаза не ест», –
повторяем, как тетери.
Но за что стыдиться есть,
даже, если стыд потеряян.
За враньё и за войну,
за страну, где холоднеет.
И за чью-нибудь вину,
за свою – в сто раз стыднее.
За невежество и лень
и за скрытые пороки.
За пустых амбиций плен,
за раздоры и за склоки.
И на дальнем берегу,
где живёт лишь тень былого,
за фальшивую строку,

за неряшливое слово.
Перед памятью друзей,
пред поэтами от Бога
на изъезженной стезе
тяжело и одиноко.
Нет на свете их давно,
я пока кружу над бездной.
Мне немного дано,
если честно, если честно..
Вспомню лица, голоса –
перехватит спазмом горло.
Дешевеют словеса
в нашем времени прогорклom..
Осмотрюсь ещё окрест –
не летают херувимы...
Стыд – не дым, глаза не ест,
только стыдно нестерпимо.

* * *

Что я, души своей мытарь,
тупо сижу за столом,
если посуда не мыта
и не сходил в гастроном?

Мысли стекаются вяло
в Лету ли, Стикс, Ахеронт.
Как ты меня умоляла
в комнате сделать ремонт.

Что философствовать, право, –
не остановится миг.
Времени злая отравка:
мальчик, подросток, старик.

Что к рассуждениям о вечном
можно добавить, сопя? –
Лучше легко и безопасно
стопку принять на себя.

Что откровенничать, спорить,
будет ли с этого толк?
Лучше наклеить обои
и побелить потолок.

Слово – великая сила! –
Кто произнёс эту чушь?
Как же меня ты просила
краны исправить и душ...

Гаснет дневное светило,
дух воспаряет сквозь мрак.
Что там тетрадь сохранила:
слово – великая сила?
Может быть, может быть, так.

* * *

Всё меньше сил внутри
тягаться с новым веком.
Приходят декабри
с раздумьями и снегом.

Морозная пыльца
светлит леса и тропы.
Под стрелами Стрельца
прогнозы гороскопа.

Где в детстве снеговик
торчал, как задавака,
не верил ни на миг
я в знаки Зодиака.

Но космосом влеком,
впивался в мирозданье...
Потом придёт, потом,
что одинок – сознанье.

Потом пойму, потом,
что чёрные глубины
и есть наш общий дом,
который здесь сгубили.

Ведь на Земле не зря
в рождественском веселье
на пике декабря
ни счастья, ни везенья...

Скрип старого крыльца,
и взгляд в ночные выси.
В созвездии Стрельца
призывно кто-то свистнет.

Не поверну лица
ни к морю и ни к суше.
В созвездии Стрельца
мою ищите душу.

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

* * *

Когда ещё цветное фото
входило робко в нашу жизнь,
четыре юных обормота
на фоне зелени снялись.

Один, как божий одуванчик,
отличник, маменькин сынок.
Другой – шпана, весёлый мальчик,
а третий – щёголь-паренёк.

Четвёртый – я в рубахе красной,
самим покрашенной вчера,
слегка задумчивый и праздный
у кромки школьного двора.

Изображенье это длится,
с годами меркнут голоса,
но остаются наши лица
и удивлённые глаза.

На бледной выцветшей бумаге,
где мы смешливо морщим лбы,
видны, как водяные знаки,
четыре разные судьбы.

И сколько б ни смотрел я снова
на фотку, льются на меня
оттуда только свет и слово,
как отзвук солнечного дня.

Как отзвук выпускного мая,
где от черёмухи бело.
И всех живых я обнимаю,
и всех, чьё время утекло.

* * *

Наше детство – сталинские годы,
оттепелью отогрелась юность.
Молодость, чуть разбежавшись, с ходу
в марево застоя окунулась.

Впрочем, что нам были перемены? –
Так, пустяк, в газете сообщенье.
Нам важней, чтоб музыка гремела,
чтоб любви испытывать смущенье.

Как судить, не очень-то мне ясно,
что происходило со страной.
Я там жил в очередях колбасных,
я там пел, не выходя из строя.

Модный плащ носил и старый ватник,
веселился, ссорился с семейством...
Ну, а время – как на сцене задник
для актёров, поглощённых действием.

* * *

Клён у крыльца дощатого барака –
его из прошлой жизни не сотру.
Им выдержана времени атака,
поёт зелёный парус на ветру.

По улицам, где нет ещё асфальта,
гонял я маломерку – велик свой.
И через руль крутил, бывало, сальто,
спасаемый землёю и травой.

Здесь, во дворе шпаны и книгочеев,
нас проверяло детство на излом.
Чем старше мы и суше, и мрачнее,
тем чаще вспоминаем о былом.

Мы остаёмся там, где родились,
в какой земле нам не пришлось лежать бы.
Там, где судьба ещё, как чистый лист,
и далеко до зрелости и жатвы.

Всё исчезает в суতোлке лет,
кумиров и диктаторов свергают.
Но подростковый мой велосипед
везёт меня и спицами сверкает.

Снесён давно простуженный барак,
меняются и климат, и режимы.
Но сквозь десятилетий кавардак
зелёный парус реет одержимо.

* * *

Тихая тобольская вода,
ивы ветви над рекой нагнули.
Для купанья место – хоть куда
в душном одуряющем июле.

Ничего, что берег слишком крут,

ничего, что солнца жалит спрут.
Чуть нырнёшь – и ноги схватит холод.
Шашлыки урчат на кирпичах,
высыхают капли на плечах,
хорошо, пусть даже и не молод.

Ничего, что нет к воде мостков,
ничего, что шаг – и был таков:
глубину лишь смельчаки измеряют.
Млеем от недолгого тепла,
юных спутниц смуглые тела
манят взгляд , но жизнь нам не изменят.

Жадно «жигулёвского» глотнуть
и сказать: ты этот день забудь.
Потому что так бывает часто:
ив изгиб над светлою рекой
и внутри смиренье и покой
принимаясь иногда за счастье.

Тихая тобольская вода,
щедрый день, как свыше чья-то милость.
Позабыл, казалось, навсегда.
Только почему-то не забылось.

* * *

На улице Станционной
полжизни почти прошло.
На пыльной, сквозной, стозвонной,
где было душе тепло.

Где было душе тревожно
под стук поездных колёс,
под крик гудков суматошных,
что ветер на город нёс.

Отрезок меж двух вокзалов,
разбег стальной колеи.
Как громом меня пронзало,
смятенные сны мои.

Но хор этих резвых звуков,
что сутками петть не прочь,
так странно меня баюкал,
врываясь в глухую ночь.

Вневременной, внесезонной
мне музыки слышен шквал...
На улице Станционной
когда-то я проживал.

Теперь в тишине осенней

ворочаюсь на простыне,
как будто моё спасенье
в грохочущей той струне.

В несоединимой стычке
разнузданных грузных нот.
И в улочке-невеличке,
где старых деревьев свод.

Ободранные фасады,
лязг сцепок и молотка.
Медлительность листопада,
глубокие облака.

* * *

Я имел автомобиль
в приснопамятные годы,
вдохновенно-неумело
руль крутил, давил педаль.
Есть в движении всегда
чувство риска и свободы,
потому что в перспективе
горизонта светит даль.
Был «Москвич» тяжеловат,
в «Мерседес» не превращался
и железом на ухабах
оглушительно гремел.
Но какой же это кайф
и какое это счастье
по шоссе нестись за ветром,
сил преодолев предел.
Знал, что опыт – нулевой,
в переплёт попасть недолго,
но притягивала скорость,
хоть ползла по телу дрожь.
Сохранён тогда судьбой,
не добился в жизни толку –
видно, не было в ней риска
и свободы ни на грош.

А сегодня – только свист:
пролетают иномарки,
в них надёжные системы,
что умнее нас, людей.
Остаются позади
и бродвей, и монмартры,
и гайд-парки, и арбаты –
символы взрывных идей.
Обогнав самих себя,
как из прошлого курьеры,
мы сидим в автомобилях

с важной миной на лице.
В затемнённое стекло
видим деньги и карьеру,
риск рассчитан, есть свобода –
жаль, что примитивна цель.
Время не затормозить,
не сменить асфальт на гравий.
Разноцветные торпеды
в новый век устремлены.
Кто жар-птицу ухватил,
кто в лихие дни нагребил –
никогда не разобраться,
не найти ничьей вины...

Я имел автомобиль
в приснопамятные годы.
Руль крутил остервенело,
пульс мотору бился в такт.
Мой «Москвич» крылатым был
мне на радость и в угоду.
Хорошо б на нём промчатся.
Беззаботно. Просто так.

* * *

Над забором бушевала сирень.
В школе кончился последний урок.
Отыщи, чтоб запомнился этот день,
с пятью лепестками редкий цветок.

Надо проглотить его – не беречь,
может быть, действительно повезёт...
Мне наивный сборник «Родная речь»
был важней тогда, чем сухой расчёт.

Но теперь сказать – не хватает слов,
и чем дальше время, тем вдох трудней.
Как рыбак в корзине собрал улов –
а рыбёшка всего одна на дне.

Не хватило в жизни весла, руля,
ждал, когда на гребень взнесёт волна.
И остался простой, как три рубля,
и что делать со мной – судьба вольна.

Только кто сумеет унять молву,
будто я породы совсем не той,
что плоды златые с деревьев рву,
запиваю серебряною водой?

Вот и мучаюсь: повезло аль нет?

Видно, горьким пятый был лепесток.
Лучше бросил бы в воздух горсть монет,
как сейчас бросает каждый кадет,
а цветок сирени втоптал в песок.

* * *

«Мы – романтики старой закалки.»
Б.Окуджава

А романтиков нынче почти не рождает держава,
а романтики что-то в новом веке перевелись.
На крылатых конях, тихо следуя за Окуджавой,
растворились в пространстве и куда-то перенеслись.

Видно, всё, что смогли, и сказали они, и пропели,
согревая надеждой свою и чужую судьбу.
И в глухих временах – смельчаки, шутники, менестрели,
рвали струны и сердце, строкой будоража толпу.

Как металл драгоценный с проверенной пробой,
были в жизни для нас беспокойные их голоса.
Кто-то всё же дожил до эпохи приколов и стёба,
в одиночку крича или молча нам глядя в глаза.

Где ответ на вопрос: неужели же зря? Неужели
этот дух вдохновенья, любви и свободы исчез?..
Только вспомнится вдруг, как усталые лица светлели,
словно ясный огонь пробивался с высоких небес.

* * *

«Кто были мы, шестидесятники?
На гребне вала пенного
В двадцатом веке, как десантники
из двадцать первого.»
Е.Евтушенко

К стихам теперь не так относятся –
почти скептически, с прохладцею.
Смолкает даже отголосица
времён восторженных оваций.

Когда выросли шестидесятники,
взойдя на оттепельной милости,

они боролись с недостатками –
была же вся система гнилой.

Разбрасывали строчки искрами
и обжигать, и обнадёживать.
Казалось, выстраданность, искренность
нужны, как помощь неотложная.

И хоть настало просветление
поздней у них и новой поросли –
но есть прививка поколениям
от равнодушия и подлости.

Обласканные поклонниками,
оболганные прохвостами ,
они остались непокорными
упрямыми первопроходцами.

Их голоса совсем не лишние,
чтоб нынче кое с кем поцапаться.
С бунтарской прямокой пацанской
десантники вернулись книжками
в свой двадцать первый из двадцатого.

Почтим их помыслы вставанием,
они оценятся историей.
Но разве разочарование
преуменьшает их достоинства?

Как мчащие к свободе всадники,
наивные и романтические –
отчаянные шестидесятники,
прославленные и трагичные.

ВЯЧЕСЛАВУ ВЕСЕЛОВУ

Писателю, журналисту, лётчику, археологу

Ты этих строк не услышишь и не прочитаешь,
к нам не зайдёшь, чтобы «трёшку» занять на похмель.
Сколько их было, победных и горьких ристалищ
в жизни твоей, где устроиться ты не умел.

В северном небе, душе не дающем привала,
с птицей железной в кабине срастался стрелок...
Всё, что узнал ты, в тебе до конца бунтовало,
всё, что впитал ты, бродя в перекрестьях дорог.

Струи воздушные или потоки морские,

прошлых веков по раскопам рассыпанный быт –
всё сохранилось в тебе, словно золото Скифов,
всё в твоих книгах, как жёрновом, память дробит.

В ста словарях не нашёл бы я нужного слова,
в сотне пророчеств свою не узрел бы звезду.
Ты сберегал от безвкусного, глупого, злого,
ты ободрял невозможную брать высоту.

Мне ль не ответить: «Спасибо, старик, за науку!»
Мне ль не отправить тебе в неизвестность привет.
Где я пожму твою лёгкую верную руку,
где я найду твой затерянный в вечности след?

* * *

Брату

Слов сентиментальных не любитель,
с давних пор трудяга из трудяг,
сам себя создатель и спаситель
сам себя из бед и передряг.

Может, раз под сатанинским небом
в поезде, идущем на восток,
в страхе и беспомощности слепо
в материнский тыкался платок.

Мальчик в синей новенькой матроске,
с локонами светлыми до плеч.
Выли бомбы, скрежетали доски,
и молчаньем становилась речь.

Вырвались из смертного капкана,
приняла на жительство Сибирь,
и за всех вздыхая покаянно,
за руку взяла, как поводырь.

По снегам, по лужам, по жаре ли
шёл, обид и злости не копя.
Тут тебя любили и жалели,
огорчали тоже тут тебя.

Рано повзрослевший, по-отцовски
всё в себе стараешься сберечь...
Мальчик в синей новенькой матроске,
с локонами светлыми до плеч.

ГЕНЕАЛОГИЯ

Чем вопрос больней, тем ответ трудней,
пред фамильным древом тоска берёт:
докопаться как до своих корней,
отыскать, откуда пошёл твой род.

И не странно ли, что в стране крестьян
и с прогорклым дымом фабричных труб,
не кирзу найти хотим, а сафьян
и дворцовый блеск, а не тьму халуп.

Вдруг и вправду предок – дворянских черт,
может, граф какой или князь.
Голубая кровь, на карете герб:
вензелей старинных густая вязь...

По ветвям фамильным разбросан прах,
кто мы есть теперь – тем быть суждено.
Родовое моё гнездо – барак,
снесено давно уже, снесено.

СОСЕДИ

1

* * *

На гармошке играл сосед,
пел про Муромскую дорогу,
и слеза застилала свет
гармонисту невысшей пробы.

Самоучкою сельским был.
Тяжко ранен под Сталинградом,
там, где юность свою сгубил,
весь в отметах железных градин.

Кнопки чёрные нажимал,
к белым пуговкам прикасался.
В доме пряталась тишина
от разгула бродяги-вальса.

Выпьет водки – закон таков:
раз в неделю подай – хоть тресни.
И во всю ширину мехов
заполнялась округа песней.

Пальцы гнулись плохо – беда,
это с фронта ещё морока...
Пел про Муромскую дорогу,
про войну не пел никогда.

2

ВОЕНРУК

Вечерами летними на крыльце
он затягивался папиросой
и всегда с улыбкою на лице
наблюдал за дворовой прозой.

Вились кольца жёсткие на груди,
из-под майки бугрился мускул.
Пацанам рукой махал: «Подходи!»
Вместе с ними семечки лузгал.

Надевал костюм с утра военрук,
твёрдой поступью шёл он к школе.
И никто не знал боевых заслуг,
им добытых на Халкин-Голе.

Где-то дома в ящичке ордена –
что носить их при всём народе.
Неизвестная та была война,
не Отечественная вроде.

Он мальчишек метко стрелять учил
и улаживал их раздоры
в тире, сам который соорудил
меж стеной глухой и забором.

Со штанов срывая комки репья,
юный взвод палил из «духовки»,
попадая пулькой в мешок тряпья,
вновь сгибая с трудом винтовку.

Военрук командовал громко: «Пли!»
Каждый выстрел хвалил удачный,
помня, как лежал на краю Земли
после боя в крови, в пыли,
оглушённый, седой и мрачный.

* * *

Сосед носил полупальто «Москвичка» –
по два кармана с каждой стороны.
Поскрипывали бурки методично
и валенкам, и сапогам сродни.

Каракуль серый вился на папахе,
спадая на широкий воротник.
Ещё недавно корчившийся в страхе
сосед из тьмы начальственно возник.

Откуда-то из сферы потаённой,
уже ни перед кем не трепеща,
явился он, похожий отдалённо
повадками на самого Хруща.

Влезал в «Победу» утром неуклюже –
мешали вес и головной убор.
Кричал с трибуны, критикой утюжа,
на выводы и на решенья скор.

Кому-то было точно не до смеха,
хоть стал тогда теплее небосвод...
Он в новую квартиру переехал:
отдельный вход, охрана у ворот.

Казалось, что устроился неплохо,
но, видимо, поздней момент проспал,
и с этой властью он, как знак эпохи,
был тихо стёрт и вместе с ней пропал.

* * *

Вижу образ экранный: на меня, укрупняясь, плывёт,
тротуар деревянный – в дальнем детстве затерянный плот.
Мимо дома с забором и цветущей сиренью над ним.
Мимо песни задорной, в которой о счастье трубим.
Мимо пыли дорожной и кирпичной тюремной стены.
Мимо боли острожной в душах тех, кто не ведал вины.

Проплывает неспешно вдоль ссутуленных очередей,
вдоль нахлынувших нежно заблудившихся в памяти дней.
Гнутся, хлюпая, доски под размашистой лёгкой ногой.
Прошлых лет отголоски, призрак жизни беспечной, другой.

* * *

На полке вагонной лёжа,
под монолог колёс
тело моё скулёжное
затихло, как сытый пёс.

Взамен скукоты домашней –
мельканье минут и вёрст.
В окне то леса, то пашни,
то бедный сельский погост.

Пейзаж пробегает пресный,
взгляни – и, вздохнув, замри!..
Лечу параллельно рельсам
и в близости от земли.

Два дня железнодорожных –

и треть страны не объять,
где было несладко в прошлом
и нынче горчит опять.

Везде: и в столицах гордых,
где толкотня и свет,
и в деревнях полумёртвых,
которых на карте нет.

В толпе перед гласом трубным
упрёков и злых обид.
И там, в глубине загрудной,
где долгая боль свербит.

Не временный, не проезжий,
на мокрый перрон сходя,
всё жду я, когда забрезжит
здесь солнце после дождя.

И вновь на неторных тропах,
ведущих в родную глушь,
услышу лишь слабый ропот
из терпеливых душ.

* * *

Девочка играет на рояле,
от усердия раскрывая рот.
Что мне эти клавиши сыграли,
что мне в них покоя не даёт?

Вроде бы мелодия простая,
маленький классический этюд.
Звук взлетел и в воздухе растаял,
а потом нашёл во мне приют.

Видно, что-то хрупкое затронул,
разбудил, напомнил, всколыхнул.
Как идёшь по длинному перрону,
поездов печальный слыша гул.

Как соприкасаешься с разлукой
и с надеждой встретиться опять.
Как сойдя с обыденного круга,
хочешь непонятное понять...

И внутри внезапно шевельнётся,
кажется, забытое давно.
Как вода в заброшенном колодце
от упавших камешков на дно.

Что приобрели, что потеряли

в беге ускользящих минут? –
Девочка играет на рояле
маленький классический этюд.

ЛЁТЧИК ДОСААФ

Старушка, «Аннушка», АН-2 –
летал на нём самозабвенно.
А нынче тащишься едва
с авоськой, жалкий и согбенный.

Когда-то – виртуоз-пилот,
учил других парить по-птичьи.
А нынче хмуро морщишь лоб,
в кармане подсчитав наличку.

С утра гудел аэродром,
и прыгали парашютисты.
Ты счастье чувствовал нутром,
кружа над полем в небе чистом.

Твой друг освоился давно
на белом лайнере – на ТУшке,
А ты, почти как Мимино,
был верен «Аннушке»-простушке.

Не испытатель, не герой,
нет сложных перелётов дальних.
О чём ты говоришь порой
с самим собой исповедально?

Судьбой проверен на изгиб,
живёшь – в ушах мотор молотит.
А друг твой спился и погиб,
когда расстался с самолётом.

Идёшь и дышишь тяжело,
глядишь туда, где гнёзда грачи,
ввысь, где железное крыло
тебе пророчило удачу.

* * *

Мы пережили тьму вождей:
волюнтаристов, демократов,
ниспровергателей идей
и тех, кто тяготел к диктату.

Когда я в первом классе лоб
тёр над рядами букв-каракуль,

генералиссимус усоп,
но я, как помнится, не плакал.

Когда в общаге пил вино
среди хохм студенческих и споров,
мне было, в общем, всё равно
до грубых наверху разборок.

И позже, часто на бегу,
стирая голос и подошвы,
я оставался в том кругу,
где жизнь простую знал дотошно.

Насмешлив, сдержан, молчалив,
когда вокруг кипели страсти,
я ждал, как берег ждёт прилив,
ещё одно явление власти.

Меня тянули, кто куда,
но я нейтрален был однако,
и, как швейцарцы, никогда
ни с кем не ввязывался в драку.

Внутри включались тормоза,
и нерешительность томила.
И в женские взглянув глаза,
испуганно прошёл я мимо.

Живу, как будто не храня
тех лет удачи и просчёты.
Но что-то мучает меня
и растревоживает что-то.

Между эпохами мосты
скрипят устало и натужно.
И мне судьба сегодня мстит
за трусость и за равнодушие.

* * *

На сумрачной платформе, где сыро и сквозит,
ждать поезд некомфортно – во все концы транзит.
Один придёт с Востока, и с Запада – другой.
в окне нетрезвый кто-то тебе махнёт рукой.

Он едет трое суток в Читу или Петербург.
Стоянка три минуты, короткий перекур.
Тебе в иное место, иной придёт состав,
хотя, сказать по чести, ты ждать его устал.

Сибирский городишка, приземистый вокзал.

Как прошлого отрывка, которое ты знал.
В котором жил неспешно, позёвывая всласть,
а жизнь, слегка помешкав, как поезд пронеслась.

В какую тьму и смуту, в какой летит сумбур? –
Стоянка три минуты, последний перекур.

* * *

Меж раскидистых крон по кладбищенским тропам
я бреду с похорон, как бесчувственный робот.
Стал привычным обряд, как на поприще ратном.
Удлиняется ряд из потерь безвозвратных.

Вспомню старый погост и другие дороги,
нынче редкий я гость у знакомых надгробий.
Из-за леса – луна, свет на мраморных лицах.
Имена, имена – что владельцам их снится?
Может, мысли о нас как сосудах скудельных.
Может, сказ без прикрас о мирах запредельных.

Клён высокий распят над дощатой скамейкой.
Здесь родители спят под звездой-нержавейкой.
Души их веселя, две синицы щебечут,
а в оградке земля стосковалась по встрече.
Слышу голос в тени под немолчною ветвью:
«Боже, всех вас храни, всех живущих на свете!»

БЮРО ОБМЕНА

Я пойду в обменное бюро,
где народ с надеждою толпится.
Приготовлю вечное перо,
гляну в озабоченные лица.

Кто-то разъезжается с женой,
кто-то мать берёт к себе старушку:
маловато комнаты одной –
им нужна по - минимуму «двушка».

Взрослый сын. Имеет сам семью.
Не в ладах с родительской опекой.
Пусть хоть небольшую, но свою
хорошо б жилплощадь человеку.

Вариант непросто отыскать.
И хитрят, и требуют доплату.
Кто-то крутит пальцем у виска,
кто-то смотрит нервно, нагло.

Бланк возьму. Мой случай не таков.
Он, сказать по правде, нетипичен –
ведь меня устраивает кров
тот, что у меня сейчас в наличье.

Но когда последний грянет вздох,
растворяясь в молчаливой бездне –
на любой в чулане закуток
я сменял бы даже рай небесный.

* * *

Октябрьское солнце палит, как в июне.
Казалось, что лето ушло накануне,
и ветер холодный из северных мест,
согласно прогнозу, завоюет окрест.

Но, к счастью, в природе возможны возвраты,
чего не бывает среди нашего брата:
хоть чистое небо, хоть туча – пятном,
а время идёт в направлении одном.

И всё ж хорошо, что ошибся синоптик –
каштан сохраняет причёску, как модник,
и липа нарядна, и клён золотист,
лишь нехотя редкий срывается лист.

Деревья замкнулись в свои оболочки,
борясь за мгновенья от смерти отсрочки –
от временной, ясно же, не вековой.
А мы никакой не хотим, никакой.

* * *

«Иначе среди птиц, но птицы мало значат.»
И.Бродский

На вечернем балконе смиряется взгляд,
упирается в сумрак соседней стены.
Только слышно, как птицы о чём-то галдят,
очевидно, дневных впечатлений полны.

Нам бы тоже с тобой повести разговор
под спадающей крышей притихших небес.
Но в отличие от птиц – в наших мыслях простор,
а слова разбивает и путает бес.

Для чего же тогда нам издревле язык
обладателям дан человеческих лиц,

если даже и клюв, и перо, и кадык
в ход невольно идут в объяснениях птиц?

Мало значат они, но рука и крыло
так похоже во взмахах прощаний и встреч.
Говори. Не молчи. Нас судьбою свело,
значит, праздник общенья должны мы сберечь.

Вот и я, неожиданным чувством объят,
на вечернем балконе о чём-то шепчу...
Слышишь, птицы в деревьях бессвязно кричат,
и прохлада приятно скользит по плечу.

* * *

В пустой трёхкомнатной квартире
с тобой нам крупно подфартило
почти что день пробыть вдвоём.
Нет ни софы, ни даже стула,
ни коврика. Как ветром, сдуло
все вещи сквозь дверной проём.

Они загружены в контейнер,
хозяин пьёт портвейн в купейном.
А нам на гвоздике – ключи
да оглушительное эхо.
И не любовь – одна потеха,
и тихий смех: молчи, молчи!

Конечно, дело молодое,
внутри горячка нас колдобит.
Глодает веник пыль в углу,
в окно глядит осенний сумрак,
вино с закуской лёгкой в сумке
на жёстком стонущем полу...

Затёрлась в памяти картина.
Давно чужой живёт в квартире.
Хозяин, тот, что дом сменил,
уже расстался с миром этим.
А мы пока на белом свете
след оставляем от чернил.

Всё поменялось, пробежало.
В душе – зола былого жара.
Лишь через годы, одинок,
для убедительности вящей
звонит в момент неподходящий
к нам в дверь назойливый звонок

* * *

Запирала дверь в столовке,
убирала ключ в карман.
Было ей слегка неловко,
что решилась на обман.

Не на подлую измену,
а на шальный, дерзкий шаг.
Мстила мужу-супермену
при котлетах и борщах.

Бесшабашная подружка,
повариха, чье бедро,
как горячая ватрушка,
обжигала мне нутро.

Улыбалась виновато,
затуманивала глаз.
Понимала, что куда-то
далеко ведёт соблазн.

За окном листва кипела,
летний день, как знойный взрыв.
Оба в пропасть адюльтера
мы летели, всё забыв.

Выпивали по две стопки,
ели сладкую хурму...
А что делали в подсобке,
не расскажем никому.

* * *

В.

Не желая Господа тревожить по пустякам,
да на это и прав никаких не имея,
всё же с просьбой к нему пробегу по райским мосткам,
избегая в деревьях уснувшего змея.

И найдя старика в небесной его мастерской,
предъявлю ему женщины снимок случайный,
затерявшейся где-то по ходу жизни мирской,
внятных весточек от неё не получая.

И ничтоже сумняшеся, осмелев, попрошу:
поскорей отыщи мне заблудшую деву.
Обозначь ей тропку домой, как в лесу мурашу,
осени на благое и доброе дело.

Я стою пред тобою с дорожной сумкой, небрит,
и бубню отчаянно: озари прозреньем,
ибо, видно, не ведает женщина, что творит —

не обидь её жалостью или презреньем.

Ей по вере воздать бы удачей на много дней –
говорят, всё можешь, до чего б не коснулся.
Сделай утро ранним, а закат хоть на миг длинней,
сделай так, как прошу, пока змей не проснулся.

* * *

Отпусти меня. Неважно,
что не помнишь обо мне.
Ты приходишь ночью каждой
в чёрно-белом рваном сне.

Те видения – рутина,
сколок прошлого житья.
Каждый раз одна картина,
на которой ты и я.

В ней сюжет однообразный,
не ведущий никуда.
Там опять собою дразнит
в лунном свете нагота.

Я тянусь к тебе подспудно,
словно бы обнять хочу.
Но в последнюю секунду
ты по белому лучу
вдруг уносишься под купол,
как циркачка на кольце.
Только что-то шепчут губы
да улыбка на лице.

Сон кончается под утро,
просыпаюсь, утомлён.
Но на завтра праздной смутой
вновь меня терзает он.

Отпусти. Как в жизни прежней,
проведи в душе между.
Даже если ты не держишь,
если я тебя держу.

* * *

Время стало пустым, как муляж,
в чьё нутро только воздух натолкан.
Ты уехала. Это – не блажь:

нам нельзя расставаться надолго.

Посреди одичанья и смут
друг за друга держаться бы надо,
дожидаясь счастливых минут
просветления, как снегопада.

Потому что больней, чем стареть,
если жизнь – оглушительный промах,
одному в тишине сатанеть
или злиться на шумных приёмах.

Возвращайся. Исчерпан лимит
на разборки, разлуки, размолвки.
Это в мире бурлит и штормит,
а с тобой наши споры умолкли.

Где капризы и слёзы из глаз –
их с упрёком изъяла таможня.
Хоть и вместе нам трудно подчас,
но и порознь никак невозможно.

* * *

В этой комнате нет уюта,
всё раскидано по углам,
как во время Великой смуты
или после войны бедлам.

Вещи брошены в беспорядке
на кушетку, на стул, на стол.
И проигрывая им в прятки,
ты склоняешься над листом.

Там, в смятении дерзких линий,
перепутанных, как лоза,
зарождаются на картине
лоб и локоны, и глаза.

Гладиолусов свежих буйство
и в пейзаже ночной сюжет.
Хаос побоку – ведь искусство,
как известно, взыскует жертв.

Ты не можешь без нервных бдений
с кистью, с мелом, с карандашом.
И удача над невезеньем,
как над заводью тихой шторм.

Сколько раз говорила: «Точка.
Вся я вычерпана до дна».

Но лишь краткую дав отсрочку,
ждёт тебя твоя одиночка,
для комфорта не создана.

* * *

Продолжаются тёплые дни,
хоть октябрь на дворе укрепился.
Мы остались с тобою одни
у прощального долгого пирса.

Согревает ли солнечный луч
или ветер слегка овевает –
словно кто-то с заоблачных круч
жить нам дальше повелевает.

Разбегается с моря волна,
ударяясь о прочность причала.
Ни ковчегу вокруг, ни челна,
ни конца не видать, ни начала.

Никуда не сбежать, ни уплыть
от себя, от страны, от погоста.
Нет охоты вилять и юлить,
быть повсюду непрошенным гостем.

Впрочем, все на Земле мы в гостях
с предначертанной датой ухода.
Временами хрустит наш костяк,
не завися уже от погоды.

Только щедрость осеннего дня,
впереди предвещающая разлуку,
обнимает тебя и меня,
потакая сердечному стуку.

* * *

В.

Частица неба за окном,
открыты в полночь ставни.
И надо думать об одном –
о скором расставанье.

Как слёзы, капли по стеклу,
вода течёт снаружи.
И ты глядишь, глядишь во мглу,
молчанья не нарушив.

Что солнца может быть нужней

для бодрой песни птичьей?
А здесь шумит сезон дождей
почти круглогодично.

Вода – слеза, слеза – вода,
ручьи струятся мутно.
Само прощанье – не беда,
навек проститься трудно....

Взойдёт в зените жёлтый круг,
горячим светом брызнет.
Переживи меня, мой друг,
прошу небескорыстно.

Я без тебя – роман без слов,
мелодия без звука.
Переживи меня назло
усталости и скуке.

Ты мне – крыло и парашют,
и ветра дуновенье.
Переживи меня. Прошу.
Хотя бы на мгновенье.

* * *

Неожиданный август – жара.
От восторга кричит детвора,
в воду бухаясь самозабвенно.
Раскалённое солнце с высот
выжигает траву и песок,
и деревьев вскипающий сок –
с жизнью связывающие звенья.

Впрочем, зноя недолог возврат.
Старший к августу тянется брат,
постепенно погоду смягчая.
Дым белесый над садом повис,
двух соседних времён компромисс.
На террасе, где мы собрались,
можно выпить хоть водки, хоть чаю.

Только воздух вкусней и пьяней.
Так не будет хватать этих дней
с наступлением тьмы и молчанья.
Этих редких и тихих минут,
что в груди застревают и жгут,
и сорваться совсем не дают
в пропасть холода и одичанья.

* * *

К чёрту – с чёртова колеса!
Высоты вообще боюсь.
Ни строительные леса
не влекут, ни корабль «Союз».

На двенадцатом этаже
дверь из комнаты на балкон.
На пороге – как рубеже,
встал, а дальше – страху поклон.

Дальше – голову обнесёт,
дрожь в коленях, в глазах – испуг.
Не до видов, не до красот –
лишь в груди учащённый стук.

Дальше – доброго не суля –
за перила и за карниз –
жутко тянет к себе земля,
хоть душа и стремится ввысь.

Этот страх себе не простил
и выдавливал, как раба...
Только крылья не отрастил.
Не судьба, видать, не судьба.

МОНТАЖ

Люблю искусство монтажа,
я в нём поднаторел когда-то,
творя с вмешательством ножа
реальность незамысловато.

И механической под стать
была проста в работе схема –
нарезать кадры и собрать
сюжет из плёнки марки «Свема».

Она, как тонкий поясок,
наматывалась на бобину.
Но прежде – выброшен кусок:
две третьих или половина.

Конечно, изымался брак,
все затемнения, пересветы.
И что не красило никак
деяния страны Советов...

В кино набрав серьёзный стаж,
своё расширив поле брани,

победно шествует монтаж
уже не только на экране.

Нам с ним возможностей не счесть
для творческого порыва.
Подрежем совесть, скроем честь,
порядочность сотрём брезгливо.

Неважно, что раскрыт секрет,
и кто-то взглянет с укоризной.
Так сделаем, как будто нет
того, что нам – помехой в жизни.

Того, что в лишнее, спеша,
мы занесли небезуспешно...
Ликуй, искусство монтажа,
пока душа во тьме кромешной.

* * *

Жжёт июль, как горячий противень.
В кабинетной пыхтим утробе.
В забегаловке, что напротив,
пахнет кофе и свежей сдобой.

Час обеденный вечно краток,
что-то съесть побыстрее охота.
В забегаловке – рубль на брата,
и насытишься до икоты.

По стакану бурды кофейной
выпиваешь поспешно, стоя.
Это вам не обед семейный
или же ресторанный столик.

Вкус не тот и не та посуда,
но дешевле, и всё – моментом.
К нам добра буфетчица Люда,
к постоянным своим клиентам.

Может быть, ей к тому же лестно
обводить нас лукавым взором,
пусть немногим известных местных
журналистов и режиссёров.

Мы – не «звёзды», и мы без денег,
гонорары смешны и жалки,
но у нас ежедневный тренинг,
и цейтнот, при котором жарко.

На УАЗах дороги месим.
Где-то съёмки, а где-то встречи...

А сейчас в городах и весях
мы – кто близко, а кто – далече.

И уже в нежилые кущи
обречённо бредём, трудяги,
завещая вперёд бегущим
бескорыстья и правды стяги.

И другие всё так же ныне
рвутся каждый к своей Голгофе.
Забегаловки нет в помине,
только запах сдобы и кофе.

* * *

Правота своя или чужая –
что важней, уже и не скажу.
Время, свист стрижей опережая,
к финишному рвётся рубежу.

Надо ли безумствовать и вздорить,
разбирать, кто прав, кто виноват?
Беззащитны мы, как лодка в море,
или рыцарь без копья и лат.

Уязвимы для свинцовой пули,
для тяжёлых беспощадных слов.
Надо ли в неистовом разгуле
души потрясать нам до основ?

Может быть, нужнее – отвлекаться,
чаще в небо общее смотреть.
Сверху взгляд ответный, как лекарство,
чтоб от ненависти не умереть.

Чаще сомневаться, подтверждая
ценность плотно сомкнутого рта.
Правота своя или чужая,
бесконечной жизни правота.

АКТРИСА

На Петроградской стороне
живёт одна актриса.
Все дни проходят, как во сне,
как тёмном закулисье.

В душе нет праздника давно,
забыты роли, пьесы.

Глядит в размытое окно
клиентка горсобеса.

Сказать по правде, никогда
в спектаклях не блистала.
Но сцене отданы года,
и вроде бы устала.

Невдалеке течёт Нева,
и парк просторный рядом.
Жизнь отцветает, как трава,
желтеет листопадом.

Уходит, как изгиб реки,
за видимые вехи,
где волны нынешней тоски
и прошлых лет утечи.

Живёт со временем поврозь,
ни шатко и ни валко.
Пропахла старостью насквозь
жилплощадь в коммуналке.

Суп не сварить, не спечь пирог,
в кастрюлю смотрит немо.
Талант, беспечность и порок –
извечный пир богемы.

Порой в театр возьмёт билет
и в зал войдёт неспешно,
сощурясь, будто вспыхнул свет
несбывшейся надежды.

ГОГОЛЬ И ДОРОГА

Он любил экипаж и дорогу
в Петербург и в Москву, и на юг.
Он любил, если слышалось: «трогай!»,
если слышал колёс перестук.

Мимо ели, берёзы да кочки,
да крадущийся низом туман.
Вызревали герои и строчки,
и для сцены весёлый обман.

Сам из пьесы готов персонажем
разыграть станционных людей
и, особой представившись важной,
сразу вытребовать лошадей.

Он в дороге спасался от славы,

от премьерных поклонов бежал.
От заставы катил до заставы,
и карета везла, дребезжа.

Птица-тройка его захватила,
жизнь и вправду – дорожный сюжет:
то – мошенник, то следом – кутила,
то – гусар, то – печальный поэт.

По домам у друзей обретался,
так своих и не нажил хором.
С добродушной Москвой побратался,
а столицу не принял нутром.

Странный финиш судьбой предначертан:
смерть настигла с Великим постом.
Одолела болезнь или черти
отомстили безжизненным сном?

Что оставил измученный Гоголь
в феврале, не дождавшись капель? –
В чемодане, привыкшем к дорогам,
стопку книг да бельишка немного,
пару старых сапог да шинель.

* * *

«Впрочем, нам и не надо
уезжать никуда.»

А.Кушнер

Никуда уезжать нам не надо,
Рим, Париж и Венеция – здесь.
Петербурга тире Ленинграда
красота, величавость и спесь.

Зародился российской столицей,
горделиво взметнул купола.
По утрам над Невою дымится
трёх веков седоватая мгла.

Ровно дышат роскошные парки,
и не гаснут проспектов лучи.
Во дворах с зарешёченной аркой
чьи-то тени блуждают в ночи.

И во граде Петровом, где мокро
от холодных осенних дождей,
улыбаясь чему-то, вдоль Мойки
Пушкин резво идёт из гостей.

Летний сад просыпается рано,
сон слетает с богинь и богов.
Сверлит небо струя из фонтана,
пробивая заслон облаков.

А картина меняется снова:
мчит троллейбус, где был экипаж.
Царь с царицей стоят на Дворцовой,
приглашают зайти в Эрмитаж.

Рядом с ними снимитесь на фото
со счастливым смущённым лицом.
Нам в России плохая погода
не мешает,— считает ВЦИОМ.*

Бродит прошлое мраморным эхом
меж дворцов и священных могил...
Разве можно отсюда уехать,
если даже ты здесь и не жил.

*ВЦИОМ – Всероссийский центр по изучению общественного мнения.

* * *

Всё, что светило и грело, к закату спустилось.
Только и есть, что предзимняя серая стылость.
И под ногой стало больше резного узорства
листьев опавших, лежащих примером покорства.

Топчем их в грязь, позабыв, что на прошлой неделе
листья на ветках ещё высоко золотели.
Всё, что стареет, уже никуда не годится,
и увядают, отжив своё, листья и лица.

Слышишь, звенит, заведённый на вечер будильник,
в зеркало глянешь – там старый пацан инфантильный.
Время к закату для нас незаметно сместилось,
только и есть, что предзимняя серая стылость.

Только и есть, что деревьев сиротское войско.
Только и есть, что за будущий день беспокойство.

* * *

И, как прежде, в хмурый осенний день
оказаться там, где седая тень

за тобой бесшумно везде бредёт
вдоль крутых витрин, вдоль глухих ворот.

Там, где выстроились высотки в ряд,
а дома постарше судьбу корят.
Деревянный бок промочив насквозь,
источают скуку, а может, злость.

Там ещё в колодце грохочет цепь,
и старуха топчется на крыльце.
А пацан смышлёный, наверно, внук
по двору катает железный круг.

Я там жил когда-то, давным-давно,
только тень и помнит моё окно.
Только тень осталась от прошлых дней,
их забыть бы надо, да нет родней.

* * *

Распад страны совпал с любовной драмой,
и поначалу, честно говоря,
меня не озаботила ни грамма
империи погасшая заря.

Больнее было, что расстались двое,
как выяснилось позже – навсегда.
А то, что глупость вырвалась на волю,
тогда казалось: это не беда.

Меняли цвет партийцы, комсомольцы,
и пресса распоясалась совсем.
Да нам-то что – мы в нашем нервомотстве,
как будто выпали из всех систем.

Пылал июнь, и улицы пылили,
ещё кружился тополиный пух.
И облака в высоком небе плыли,
на них посмотришь – перехватит дух.

Хотелось отрешенья и покоя
и, молча, слушать разговоры птиц.
Но время обозначилось лихое
без тормозов, без смысла, без границ.

Из всех щелей явились в мир придурки
и лидеры, как скользкие ужи.
И друг на друга злобно бизнес-урки
уже точили длинные ножи.

Душа металась, мучилась, болела –
на то нам и дана она, душа.

Но шок и страх с тоской преодолела,
чтоб возродиться трудно, не спеша.

Мы всё ж перетерпели эти годы
в стране, где жизнь всегда была борьбой...
И облака под голубые своды
опять взмывают и зовут с собой.

ПРИМЕТА

Чесалась правая ладонь,
сказали мне: к деньгам!
Как эту тему ни затронь –
смех с горем пополам.

Бездарен долгих лет итог –
не накопил монет.
Сказали: бедность – не порок.
– Но и не в рай билет.

Куда направить мне стопы,
встать, голову склоня,
чтоб философские столпы
утешили меня?

Хочу послушать мудрецов
из толстых ветхих книг.
И, глянув прямо мне в лицо,
они вскричали вмиг:

– «Прими судьбы корявый перст,
разиня, обалдуй.
Неси безропотно свой крест,
не ной и не бунтуй.

Не лезь с вопросами к другим,
цена словам – пятак.
Духовной жаждою томим,
что приобрёл, чудак?»

И впрямь, глагольный жжёт огонь
не сердце – пустоту.
Чешу я правую ладонь
и всё чего-то жду.

Живу, годами вдаль гоним,
с ухмылкой ледяной...
А шестикрылый серафим
всё кружит надо мной.

Проходные стихи, проходные,
мимо разума, мимо души.
Только боли терзают грудные
да ломаются карандаши.

Вот и жизнь, говорю, проходная,
мимо цели была, мимо звёзд.
Только рвётся дорожка земная
да становится ближе погост.

* * *

Сорочий треск, шаманский бред,
и редко-редко нежной нотой
блеснут строка или куплет –
на тёмном фоне позолотой.

Зачем вымучивать слова,
себя растрчивать впустую,
когда седая голова
болит, клоочет, протестует?

Надрыв души. Бесцельный труд.
Бездарный перевод бумаги.
Кому ты нужен, баламут,
с дыханьем старого коняги?

И всё ж у жизненной черты
стихи, как нити, тянешь ты,
то раздражаясь, то краснея...
Не потому ль, что немоты
всего на свете страх сильнее?

* * *

Словно бы в аквариум заперт,
и живу у всех на виду.
Я Восток поменял на Запад,
а покой никак не найду.

Может, вовсе не в этом дело,
где глаза упираешь в синь.
Не в блуждании оробелом
между вечных седых святынь.

Вся Европа – медвежий угол,
катаклизмы едва слышны.
В 9 вечера спит округа
под прикрытием тишины.

Город страсти свои треножит,

сонно сваливаясь во тьму.
Только что-то меня тревожит,
что-то мучает – не пойму.

То ли долгое невезенье,
то ли памяти мутный взгляд...
Здесь зимой не тускнеет зелень,
увядать цветы не хотят.

Здесь ступать по земле вольготно,
страха нет или нет почти.
Значит, было судьбе угодно
перепутать мои пути.

Принимаю, что есть, покорно,
не заглядываю вперёд.
Только полным дышать покоем
что-то всё-таки не даёт.

Мало радует то, что поздно
в жизнь приходит и в бег строки...
Словно рыба, глотаю воздух,
запрессованный в пузырьки.

КОГДА НАСТУПАЕТ ЛЕТО

Когда наступает лето, и вмиг зелёный
становится главным из всех цветов –
даже если годы твои уже на склоне,
к жизни снова, как пионер, готов.

Когда наступает лето, и резво немцы
кричат: «Urlaub!», хватаясь за чемодан –
то думаешь, скорей всего, по инерции,
что шанс какой-то тебе ещё дан.

Когда наступает лето, и сразу смело
солнце жарит из голубых вершин –
вдруг обнажаются части женского тела,
волнующие всегда мужчин.

Когда наступает лето, и долго-долго,
полный оптимизма в небе звенит мотив –
то слышишь, как птица – юная балаболка
всепомощь насвистывает: чив-чив. Жив, жив.

УТРО

Там, где утренний сумрак раскидан
и висит неподвижно окрест,

проступают черты городские
в зыбком воздухе северных мест.

В небе – шпили, внизу – магистрали,
очертанья мостов над рекой...
Что мы помним, а что потеряли
навсегда в суете вековой?

Что недавно зажглось, что погасло,
как обветренный старый маяк?
Растворилась во времени Ганза,
но осталась как памятный знак.

После войн, наводнений, пожаров
город снова – бурлящий поток.
Ранней ранью спешат горожане,
чтобы жизнь раскрутить на виток.

И, как тень параллельного мира,
заблудившись в сплетении лет,
бродит здесь нуклюжий и сирий,
неприкаянный мой силуэт.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ

Каждый день завожу механические часы,
и мне это не надоело.
Сожмётся пружина, вздрогнут маятника усы,
и пошло-поехало дело.

По моему желанию и от моей руки
в циферблате бегут секунды.
Целые сутки три стрелки нарезают круги,
не ослабнут силы покуда.

Это время моё, я его запускаю сам,
спору с кварцевой батареейкой,
тупо веруя, что жизнь меняется по часам,
которые носили предки.

Мне в запястье врезался по многу лет ремешок
от «Победы», «Звезды», от «Славы» –
разношёрстных времён примета и живой вещдок
или же истории главы.

От рифлёной головки на пальцах моих бинты –
туго крутится – больно братья....
Если кончится у часов завод, тогда – кранты,
значит, вместе нам с тишиной брататься.

* * *

Понятно, что давно ушла интрига –
всё на виду и всё старо, как мир:
жизнь стала, как потрёпанная книга,
залистана, зачитана до дыр.

В ней отпечатки дней почти что стёрты,
а память, как разорванный моток.
Но мы глядим вперёд, как прежде, твёрдо,
ещё надеясь: это не итог.

Душа ещё к высокому стремится,
как олимпиец в год пяти колец.
Но вот она, последняя страница,
где жирным шрифтом набрано: конец.

* * *

Стонут голые ветки акации,
сверху – жалобы наглых ворон...
Надоело строчить ламентации,
их ещё применял Цицерон.

Знают риторы, знают ораторы
этот бьющий прицельно приём:
души легче печалить, чем радовать,
а поплакать над чем, мы найдём.

Рассмешить бы почтенную публику,
как со сцены смешит юморист,
позабыв о потерянном, сгубленном,
где-то спрятанном в мраке кулис.

Смехом ловко людей обволакивать,
как наркотом, сильней и сильней.
А оплакивать – что там оплакивать? –
Жизнь прошла, вот и плачьте о ней.

НОЧЬ

Зима запоздала намного –
бесснежье в конце января.
Над стылой пустынной дорогой
змеиный изгиб фонаря.

Гримасы природы, ужимки,
привычной картины распад.
Откуда-то взявшись, снежинки
в рассеянном свете кружат.

Удачная ночь для прогулки.
Сосна сторожит на углу.

Всё стихло в моём переулке,
как музыка вдруг на балу.

И в этом вселенском молчанье
чего-то неясного ждёшь,
того, что приходит случайно,
стихийно, как боль или дрожь.

И в этом беззвучном спектакле,
где фоном – холодная мгла,
мне лёгкая лунная капля,
растаяв, ладонь обожгла.

SILVESTER

Молодёжь салютует Сильвестру.
Новый год – как маэстро с оркестром.
Дышит неба расцветенный свод,
где один за другим натюрморт –
вернисаж мастеров неизвестных
и концерт оглушительных нот.

Дней грядущих лихое начало
что-то в жизни всегда означало:
расставанье, прозреньё, итог,
смена цифры, планеты виток.
Даже если судьба промолчала –
просто хрустнувший в луже ледок.

Вновь с шипеньем стартуют ракеты,
оживают и гаснут букеты.
До утра этот радостный труд,
а потом разноцветье сотрут
первый луч или серость рассвета –
финиш праздничных кратких минут.

А каким ожидается завтра?
Что ворвётся без спроса, внезапно
из других непонятных времён?
Словно двери ломает ОМОН,
полон дерзости, силы, азарта,
и к душе на захват устремлён.

А душа, как в строю на поверке,
после сказочного фейерверка
озабочена вестью благой,
что не раз ещё звёздной пургой
новогодье окутает сверху
или хрустнет ледок под ногой.

* * *

Я не то чтобы не могу здесь жить,
но за много лет никак не привык
в старых улицах, заплутав, кружить,
где дома друг к другу стоят впритык.

Где бросают морось в лицо ветра,
а волна на Эльбе – сплошной бурун.
И не слышишь, веки подняв с утра,
ни вблизи, ни дальше Орфея струн.

Знать, давно затих золотой напев,
в темноту пропал, провалился в сон.
Хоть кричи, хоть плачь, руки вверх воздев,
лишь часов раздастся казённый звон.

За окном сорочий трещит базар,
и неровный рокот – чужая речь.
Надо слух напрячь и раскрыть глаза,
чтобы это в песню потом облечь.

Ибо вряд ли ведаешь, где места,
из которых всё же слова придут.
Может, их рождает в небе звезда,
а они находят земной приют.

* * *

С немцами в скомканном диалоге
что-то всё же пробую прояснить,
путая падежи и предлоги,
и смысла беседы теряя нить.

Ну, и за что мне такая мука,
чтоб убиваться тут на склоне лет? –
Филологическая наука
на этот вопрос не даёт ответ.

Надо честно признать поражение
горькое на уровне букваря.
Хотя продолжается сражение
с глаголами, но, похоже, что зря.

Кто-то учёбе больше радуется,
и тогда к нему приходит успех.
Только чужой язык не роднее,
даже если местных устроит всех.

Я говорю на своём наречье,
не выделяя его среди иных.
На древнем, плавном, громовом, вечном

и ставшим символом эпох больных.

* * *

Стрельба, землетрясения, пожары,
то пуля в грудь, то бомба под капот.
На кухню утром я вхожу в пижаме,
задумчиво съедаю бутерброд.

Пью кофе обречённо, без истерик,
гляжу со вздохом в мутное окно.
Там где-то ураган кромсает берег
с бандитским беспощадьем заодно.

Срывает крыши ветер ошалело,
дом от снаряда оседает в пыль.
Мне жаль всего, но мне-то что за дело,
когда горит чужой автомобиль.

Глазунья, обжигая, сочно брызжет.
О чём скулить, какого я рожна?
Но звуки разрушения всё ближе,
их варварская музыка слышна.

Злых духов порожденье и уродцев,
не ведающих ценностей земных,
она сюда когда-нибудь прорвётся
здесь убивать, как в местностях иных.

Раздастся взрыв, и в храмах лопнут фрески,
она везде: где море и где твердь...
Пей кофе, молча. Бутерброды трескай.
А в окна можно просто не смотреть.

КРЫМ. МАРТ 2014

Этот, волной омытый,
в горных с краёв наростах,
волей царя Никиты
бомбой стал полуостров.

Море не помнит гари,
взрывов, десантных трапов.
Кто здесь живёт? – Татарин
между хохлом с кацапом.

Время соединило,
и разбираться лишне,
что здесь когда-то было

в дальних веках и ближних.

В марте пусто на пляжах,
ни одного чухонца...
Как – неизвестно ляжет
карта под крымским солнцем.

Быть ли, как раньше, вместе
или ввязаться в драку?
Судьбы на перекрестье
мнений, борений, врагов.
То ли тепла предвестье,
то ли – зимы и мрака.

ВЕСНА 2014

1

Неторопливая весна,
и лишь спешит призыв армейский.
Жизнь, как седая арабеска,
запутана, заплетена.

Задерживается тепло,
как гость, что мешкает в передней.
Смешались правда, ложь и бредни,
как на испорченном табло.

Весенний воздух всё горчей,
в умах брожение и разруха.
Вовсю разит имперским духом
от эйфорических речей.

Скрипят истории витки –
какие схожие сюжеты.
Ложатся в длинный список жертвы,
но снова взводятся курки.

Попали мы, как кур в ошип,
взглянуть назад не захотели.
Как в прошлом, ищет «казус белли»
безумный Гавриил Принцип.

Судьбу читая между строк,
растерянности не скрывая,
куда нас выведет кривая,
не скажет ни один пророк.

2

Радужный разноцвет в рощи пришёл, в луга,

зелень в весны портрет фоном густым легла.

Кто-нибудь разве рад запахам и цветам? –
Чёрным дымом горят шины по блокпостам.

Вновь наступивший день ясности не принёс.
Мечется светотень между стволов берёз.

Как написать весну, не исказив пейзаж? –
Изобразить войну: флаг, БТР, «калаш».

Части похожих лиц в прорезях «балаклав».
В свете взрывных зарниц, кто виноват, кто прав?..

Холст, где края красны, хмурится окоём.
Это портрет весны с горечью и огнём.

* * *

По утрам ни живой и ни мёртвый
на кровати лежу распостёртый,
сны забыв, как плохое кино.
Не готов ни к борьбе, ни к победе
раздражённо взираю в окно
и очухаюсь, может, к обеду
над тетрадью, раскрытой давно.

Мысль поскачет по рваному кругу:
вспомню детство, взросленье, разруху,
школьный класс, аттестат, выпускной.
Смерть вождей в ноябре или в марте,
хрупкий воздух, пропахший сосной,
разноцветные пятна на карте,
где страна была – краской одной.

Мяч футбольный с кручёной шнуровкой,
майский день на природе с зубровкой.
Институт, чертежи, сопромат,
ироничные взгляды доцента.
Переезд, расставанье, разлад –
долгой памяти гибкая лента
с перемоткой вперёд и назад.

А сегодня другие картины,
их малюют уроды, кретины,
кровью густо грунтуя холсты.
Всё живое испуганно вянет,
гибнут дети, хиреют цветы,
и стреляют друг в друга земляне,
и глаза их бездумно пусты.

Я не знаю, весна или осень:
дождь по стёклам, как слёзы, разбросан.

Мир – казарма, тюряга, дурдом.
В нём присутствовать просто опасно,
если вовсе не думать о том,
что есть зелень, зиме неподвластна,
птичий гомон над пышным кустом.

Что закат розовеет вечерний,
и звезды со звездой обрученье.
Если снова вперед и назад
не прокручивать памяти ленту,
не смотреть, как в заброшенный сад,
где в счастливых и горьких моментах
жизнь то омут, а то – водопад.

* * *

Всё чаще приходится думать о том,
что время грозней и прерывистой дышит.
Шуршала вода в январе за окном,
и капли нестройно плясали на крыше.

Дрянная погода, дождливая муть,
зима или осень – запутаться можно.
Но что-то иное мешает уснуть,
толкаясь в груди по ночам осторожно.

Пробьются в Сибири весной зелена
назло запустенью и снежной пороше.
Мне горько в стране, что взрастила меня,
но камень в неё никогда я не брошу.

Там годы мои растворились, как дым,
сбежали ручьём, заплутали в метели.
Я только и помню, что был молодым,
что мимо летели и дни, и недели.

Пустые слова, развороченный быт
и жизнь, что комком нерешительным сжалась.
Но нет раздраженья и нету обид,
а только печаль и щемящая жалость..

Там – холод вползает в разрушенный дом.
Здесь – сутками дождь барабанит по крыше.
Но где бы ни жил, надо думать о том,
что время грозней и прерывистой дышит.

КОЛЛЕКЦИЯ

Пишущие машинки в кабинете чиновника.
Это его коллекция.

Целый ряд тянется вдоль стены.

Сам же он – за компьютером.

Возможно, ищет виновников
неуплаты налогов или других вредителей
процветанию страны.

У каждой машинки свои дата рождения
и биография, сжатые в тисках

двадцатого века, его границ.

Им ещё видятся иногда, как долгое наваждение,
образы сосредоточенно склонённых над ними лиц.
Их клавиши ещё теплы от касания пальцев
то ли женской, лёгкой, почти воздушной руки,
то ли грубого солдафона,

который тупо пялится

на буквы и мучается над созданием слова и строки.
Или газетчика, бьющего по ним резко и торопливо,
предвкушающего сенсацию и крупный гонорар.
Или писателя,

отстукивающего криминальное чтиво,
продающееся потом как бульварный товар.

Пишущие машинки. Их жизнь была – не подарок.
На теле вмятины и царапины,

как шрамы или рубцы,

даже если распоряжения Кайзера

печатались без помарок,

размножая немецкий порядок

безропотно и без ленцы.

Даже если кровавые тексты

взбалмошного рейхсканцлера

чётким шрифтом ложились

на белый бумажный лист

и спокойно воспринимались

бертами и гансами,

чьи души тогда словно покрылись панцирем

и только позднее слезами стыда пролились.

А когда из-под чёрной ленты змеился приказ

об отправке цыган и евреев

в концлагеря, где ожидал их смертельный жар,

стал бег кареток медленней и труднее,

и валики вращались, дёргаясь,

и всем существом дрожа...

Пишущие машинки в кабинете чиновника –
независимые свидетели минувших лет.

Что-то помнят ещё, сто раз ломаные и чинёные,

в отличие от компьютера, где имён и фактов

легко стирается след.

ПОГОДНОЕ

Февральский день спешит, уже весну не ждёт,
весь в солнечном огне и греясь, и сверкая.

А ты ворчишь с утра, устав от непогод,

и хмуро бормоча: видать, судьба такая.

Какая же судьба, и в чём секрет сокрыт,
что даже свет с небес не радует, а мучит,
что он глаза слепит, что зол ты и небрит,
как будто бы ещё неделя до полочки?

А ты не знаешь сам, откуда мрачный взгляд,
и всё внутри свербит и ноет раздражённо.
И чьи-то голоса задуматься велят
о том, что кончен бал, и поздно пить боржоми.

Встряхнись и усмехнись: а что же пить – коньяк?
Тогда спроси, какой: молдавский иль армянский?
Давно бы над тобой пропели отходняк,
когда б не детвора и тяга к графоманству.

Да ладно, поживём. Не плакать же навзрыд,
не доставать других занудною беседой...
А вот погода – дрянь: февральский день чудит,
и солнца, и тепла хватило до обеда.

НАСТРОЕНИЕ

Ну, какая разница – живу,
не бездомный и не голодаю.
И зимой зелёную траву
с тихим удивленьем наблюдаю.

Ну, какая разница – живу
вдалеке от мест, где жил когда-то.
Я нашёл, где преклонить главу,
времени бесцельный соглядатай.

Ну, какая разница – обман
чувства ли, неважного ли зренья?
Рыхлый серый утренний туман
над землёй, как зыбкое забвеньё.

Расплылось всё то, что позади,
впереди – в холодный сумрак еду...
Но туман рассеется, поди,
уступая солнечному свету.

ПРОГУЛКА

Идём вдоль берега на фрегате,
вдыхаем ветер и старину.
Пусть паруса ещё сил не тратят,
и винт железный бодрит волну.

Портовый вечер. Огней пыланье,
в воде и в небе их перепляс.
И пассажирский круизный лайнер
по центру Эльбы обходит нас.

В наряде белом он элегантен –
пятнадцать палуб, семьсот кают...
А мы, кто смелый, торчим на вантах,
и нет счастливей для нас минут.

На капитанском лице усмешка,
холодным взглядом буравит курс.
Кому – прогулка, кому – потешка,
а капитану – опять искус.

Момент настанет – поднимет парус,
плотней закутается в бушлат,
корабль бросая в морскую ярость –
ведь экипажу сам чёрт не брат!

За горизонт уйдя в одиночку,
фрегат прорвётся сквозь брызг пургу
в родное время летучей точкой,
а мы останемся на берегу.

* * *

Осени мутный глаз,
солнца и влаги смесь.
Снова в который раз:
«А для чего я здесь?»

Сыростью парк пропах,
дуб оголился весь.
В сердце мгновенный страх:
«А для чего я здесь?»

Правда же, не впервой,
словно за что-то мечь –
плетью над головой:
«А для чего я здесь?»

Едешь. Идёшь. Бежишь
в город, на море, в лес.
Гамбург, Берлин, Париж. –
«Стоп. А зачем я здесь?»

ДВА ГОРОДА

Два города – их сравнивать напрасно,
и сходство в них искать несообразно.

В них всё различно: краски, голоса,
вода в реке и сами эти реки,
и звёздная над ними полоса,
и взгляд людей, и сами имяреки.

Их часовой на карте делит пояс.
Тот – невелик, а этот – мегаполис.
Так что с того? – Мне оба, как родня,
живут, во сне моём переплетаясь.
Один качал в младенчестве меня,
другой готов немного скрасить старость.

Два города, два облика, две песни,
мелодии которых несовместны.
Но обе спеты, и певец – один,
страдающий от собственной же фальши.
Смущающийся словом «господин»
и не забывший оклика «товарищ».

Смешалось всё, как в доме у Облонских.
Лишь памяти глухие отголоски,
в сегодняшней врываясь мощный гул,
издалека воссоздают картину
тех мест, где я судьбу свою спугнул
в расхлябанную, смутную годину.

Два города сосуществуют мирно,
беседуют, как двое у камина.
Они – во мне, и каждый часа ждёт,
чтоб завладеть моим воображеньем.
И я живу, следя эпох полёт,
в беспечном и блаженном заблужденье.

НЕСЕБР

Сверните к морю с Солнечного берега
на перешеек тонкий, как струна,
ведущий к полуострову, где греков
была когда-то древняя страна.

Где племена фракийские бродили,
молясь то на копьё, а то на серп,
и основали город Месамбрия –
болгарский пёстрый нынешний Несебр.

Им римляне владели и османы,
но сохранился всё ж славянский дух.
И жив язык, и ритмы танцев манят,
и огонёк ремёсел не потух.

Часть прошлого морская мгла сглотнула,

а наверху – останки базилик
и улочки, наполненные гулом
минувших лет. И солнца знойный блик.

Ряды торговые берут измором:
Несебр – купец и мастеров посад.
Он весь, как будто вытолкнут из моря,
и море хочет взять его назад.

Надменная античная красotka –
находкам из глубин тут несть числа.
А на волне, как встарь, рыбацья лодка,
и в воздухе тягучий вздох весла.

В кафешке сидя, поднимая чарку,
взгляните в небо из времён иных,
где по-хозяйски медленная чайка
парит в веках, соединяя их.

* * *

Поздним переселенцам

Немки российские, немки казахские –
русские бабушки в скромных платках.
Дома вставали с рассветными красками,
с песней хлопчущих утренних птах.

В избах – уют, чистота – в палисадниках,
выметен двор, и порядок в хлеву.
Только душа беспокойная в ссадинках,
с детства цеплявшая злую молву.

Изгнаны с Волги. Вагоны телячии
вас притащили в тайгу или в степь.
Кто-то вам в спину бросался проклятьями,
кто-то делил с вами угол и хлеб.

Что перенять вы смогли от родителей? –
Верность укладу, терпенье, язык.
Где ваши судьбы и ваши гонители,
где побеждённые, где победители? –
Правды и лжи нестыкуемый стык.

Здесь, вдалеке от привычного берега,
здесь вам и дом приготовлен, и стол.
Здесь вы по-русски общаетесь в скверике,
руки сложив на широкий подол.

РАЗГОВОР

Два наших мужичка. С утра уже поддали.

Жестикулируют. Весёлый разговор.
Какие-то сейчас для них открылись дали,
какой-то вольный обозначился простор.

Возможно, тех полей, оставленных в Сибири,
где до небесных врат преград не видит взгляд.
По трезвости махнут: «на это мы забили»,
а выпьют – пошуметь, поспорить норвят.

– Ты знаешь, воздух там с берёзовым настоем,
а выключишь мотор – и тишина звенит.
– Но техника – дерьмо, работать нет настроя,
и нужных запчастей на складе дефицит.

– А осенью зовут желтеющие колки,
закат, просёлок, деревенский дом.
– Зимой неплохо побродить с двустволкой,
чтоб заяц тряся, сидя под кустом....

Что облик вспоминать природы ли, избы ли
в немецком городке, где стриженный газон?
То время утекло, они его избыли,
и свет далёких дней пропал за горизонт.

О чём же говорить?
– Там снова ходят строим,
крестьянствуют, кряхтя, старик да инвалид.
– А воздух всё же там с берёзовым настоем,
и тишина в полях бездонная звенит.

СТРОЙКА

Бывший начальник строительного треста,
солидный седовласый мужик,
себе в Германии не находит места
и к этому ещё не привык.

С высоты своего немалого роста
озирается хмуро вокруг:
жизни пирог давно разрезан и роздан,
что изменится от его потуг?

Эту мысль повторяет он многократно,
как со старой пластинки куплет,
по привычке подстриженный аккуратно
и почти элегантно одет.

Каблуки постукивают по брусчатке,
он прогуливается не раз
мимо нового дома и стройплощадки,
где мощно встал бетонный каркас.

Долгим взглядом следит он за ходом крана,

как вверх и вниз торопится груз,
с лицом забытого всеми ветерана,
на котором смятение и грусть.

Кажется: за ним наблюдает полмира.
И сердито кашляя в кулак,
он уходит, слыша спиной: майна, вира! —
То ли звуки сегодняшнего клавира,
то ли из прошлого смутный знак.

ПОЛИГЛОТ

В куртке старой, в шапчонке рваной
у дверей в магазин стоит,
объясняясь без речи бранной,
сохраняя достойный вид.

Перегарным сражая духом,
всем рассказывает одно:
как прекрасна его житуха,
и что он не пошёл на дно.

Мама – русская, папа – немец,
ну, а сам – коренной поляк.
Языки впитал, как младенец,
языки для него – пустяк.

Он их пользуется вперемешку,
только польский звучит акцент.
Суетливо и как-то в спешке
сольный свой выдаёт концерт.

Выступает, немыт, нечёсан,
бородицей трясёт седой.
Хлеб просроченный, получёрствый
здесь получит с другой едой.

Загорятся в глазах искринки,
всё потащит к подруге в дом.
Что-то скажет ей по-украински,
на её языке родном.

Под халявный набор закуски
жадно винных глотнут «чернил».
Скажет ей «мерси» по-французски —
он когда-то его учил.

ОТЦЫ И ДЕТИ

Бесполезно злиться и ворчать,
раздражаться, горестно вздыхая.
Видно, это старости печать
или же наследственность плохая.

Знаю же, мне их не изменить –
молодым везде у нас дорога.
И себя не хочется винить,
их судить – не вправе слишком строго.

Вот они: смеются, говорят
по-немецки лучше, чем по-русски.
Им легко даётся всё подряд
без особой умственной нагрузки.

Им понятней электронный мир –
там общенье, знанья, развлечения.
Книгу не измучают до дыр,
а советы слушают вполуха...

Помню: тяжело молчал отец,
мама сокрушённо причитала,
когда я, продвинутый юнец,
возникал из тёмного квартала.

Заполночь являлся и дерзил,
забывал про школу и оценки...
А теперь беспомощно, без сил
схожие переживаю сценки.

Слово наше – выстрел холостой,
в пустоту – наказания и упрёки.
Ясно, свой у юности устой,
ей страдать поздней наступят сроки.

* * *

Г.Г.

Ездил на «Запорожце» – больше не накопил.
Помнил в пыли дорожной о казахской степи.
Там он когда-то вырос: поле да жидкий лес,
в детстве понять не силясь, а почему он здесь?

Немцем был нетипичным: чёрен, кудряв, носат.
К грядкам и песням птичьим трясся на дачу, в сад.
Щедрый и добродушный, с шуткой наперевес,
всем на работе нужный. Верил в КПСС...

Но в городке баварском тихо окончил жизнь.
То ли судьбы коварство, то ли её каприз.
Старость прошла спокойно. В грусти последних лет
всё юморил: по коням!, сев на велосипед.

Горной тропы изгибы. Спуск, а потом подъём.
Где он? – Уехал. Сгинул. Видно, напрасно ждём.

* * *

Мы же сами придумали душу,
кто-то вес её определил:
40 граммов стремятся наружу
из оплаканных свежих могил.

Вылетают, несутся куда-то
и свободней, и радостней нас,
как шпанята из детского сада,
на игрушки вострящие глаз.

Веселятся, общаясь друг с другом,
забывая земные грехи.
И резвятся в пространстве упругом,
словно ласточки из-под стрехи.

Забираются выше и выше,
пробиваясь сквозь облачный слой,
и не видя уже и не слыша
нас, поникших внизу головой.

Но поднявшись к вершинам венчальным,
всё поняв о добре и о зле,
проникаются той же печалью,
что хозяйева их на земле.

Где Создатель тот – каменщик, плотник,
чьи-то вера, опора и щит?
40 граммов – душа-беспилотник
в занебесье, плутая, кружит.

* * *

Сколько можно сладкое есть да пить.
Обернётся такое пристрастие бедами.
Потерять здоровье – вновь не добыть,
и останешься со всякими диабетам.

Сколько можно с судьбой в «балду» играть.
Пока отгадаешь букву – и время кончится.
И тогда лети хоть до райских врат
на крылатой ангельской разудалой коннице.

Распахнут ли их – в этом весь вопрос.
Вдруг на вахте скажут насмешливо: «врежь-ка ему!»
В белом венчике из роз наподдаст матрос –

и покатишься туда, где жаровня грешникам.

Так что сладкого ты б не ел, не пил.
Надо в жизни земной потерпеть да помучиться,
чтобы, как спартанцам из Фермопил,
избежать забвенья и подлой участи.

И хотя исчезнет имя твоё
всё равно – ты же в героях нигде не числишься,
облегчать не пробуй житьё-бытьё –
со святыми не будешь, но и не с нечистыми.

КОАЛА

На диване встали игрушки в ряд,
и коала плюшевый спит в углу.
Я балдеть от этой картины рад,
каждый день, как тот, что сел на иглу.

Взгляд скользит по гладкой глухой стене,
натываясь ниже на серый плюш.
Как живой, зверюга грустит во сне –
тут поверишь в переселенье душ.

Красный бантик сбился на шее, сник,
силы выжаты из когтистых лап.
На софе всю жизнь пролежал мужик,
а теперь – последний её этап.

Ты в меня проник или я в тебя –
глажу мягкую на затылке шерсть.
Сколько жить ещё нам с тобой, скрипя? –
Да самым неведомо то – не счесть.

Прицепиться к ветке, висеть мешком,
только есть да спать или водку пить.
По деревьям лазить, ходить пешком –
не один ли чёрт, кем сегодня быть?

Медвежонка спящего щекочу:
австралийский житель, ты видишь – снег.
Не меняюсь душами, не хочу.
Доживу на свете как человек.

* * *

Тяжёлый после отъезда год
с трусливой мыслью: назад вернуться.

Отрыть подземный, подводный ход,
бежать и даже не оглянуться.

Сейчас не знаю, какой пароль
в страну с отеческими гробами.
Другое чувство, другая роль,
и, вроде, прошлое – по барабану.

В своих пенатах бывал не раз,
привык здороваться и прощаться.
Но там костёр наш давно погас,
а к пеплу стоит ли возвращаться?

КАНАТОХОДЕЦ И КЛОУН

Балансируя и телом, и руками,
он под куполом ступает по канату
меж опорами, как между берегами,
и над пропастью, куда смотреть не надо.

Трос исхоженный врезается в подошвы,
разделив пространство узкой тонкой твердью.
Не прощая даже малую оплошность –
не страховка бы – наказывая смертью.

А потом вбегает на арену клоун
и, дурачась, ловко проволоку топчет.
Тоже – мастер, тоже – публикой балован,
но рискует в этом номере не очень.

После страха облегчённо цирк смеётся
над кривляньями ковёрного и вздором...
То ли в жизни чаще мы канатоходцы,
то ли авторы изношенных повторов?

К высоте дано не каждому стремиться
и скакать шутом есть не у всех охота.
Но – в восторге кверху задранные лица,
но – гремит по кругу добродушный хохот.

РОБИНЗОН

Не зоолог и не ботаник, а моряк, что попал в беду,
понял: остров необитаем, разговаривал с какаду.
Долго верил в большую землю, в парус, ветром который пьян.
Время скрасил дружок туземный, благородней иных дворян...

Хоть квартал городской – не остров, но сюда я, как Робинзон,
нахлебавшийся жизни вдосталь, непогодой был занесён.
Не построить новое судно, даже простенький тощий плот.

В одиночку довольно трудно, а другой меня – кто поймёт?

А другой или пусть – другая вовсе думают не о том.
Завести бы что ль попугая, оживить бы немного дом.
Буду слушать дурные речи, но не стану его корить.
Может, Пятницу всё же встречу, чтоб душевно поговорить.

* * *

Уже рождественской звездой
в окне дополнена картина.
Снег опустился на постой,
и зимним духом окатило.

Но здесь недолог снежный век
в пространстве парков, на дорогах.
Так предопределил стратег –
нам неподвластная природа.

Величественна и вольна
среди земного балагана
извечно путает она
все наши карты, наши планы.

Когда-то чувствовал в груди
волнение будущих прозрений.
Мне думалось: всё впереди,
и медленно тянулось время.

Но оглушительен итог:
я спохватился слишком поздно,
нет, не сгорела между строк
судьба в безмолвии морозном....

Снег продолжается густой,
но жизнь свою продлить не в силах
и под рождественской звездой,
в ночи взошедшей негасимо.

ДЕКАБРЬСКОЕ

Старик-декабрь, видать, сошёл с ума:
что за зима – ни снега, ни мороза.
Лишь Рождества густая кутерьма
да свет рекламы, падающий косо.

Сияет ночь искусственным огнём,
поток машин рассеялся по трассам.
И если взгляд в него мы окунём –
тотчас поймём, что против плыть опасно.

Подсвечен лик высоток и цервей,
вагон метро скользит по виадуку.
И сверху улицы ещё живей
и преданнее городскому духу...

Зачем искать бравату в декабре,
который точно для зимы потерян? –
Затем, что слепо следуя поре
за целым годом закрываем двери.

Затем, что в этом редкостном тепле
нам не забыть об осени и лете,
где сохранялись мы, как жар в золе
костра надежд минувшего столетья.

Вздыхает ель, что срублена в лесу,
в гирляндах ослепительных тоскуя.
Я декабрю, как жертву принесу
её слезу и суету мирскую.

Придёт январь, отметится пургой
и холодом ошпарит многократно.
Я всё приму над ледяной рекой,
но захочу туда, в декабрь, обратно.

* * *

Вот и вышло всё так, как вышло.
Ничего менять не хочу.
Видно, так порешили в вышних –
тут тягаться не по плечу.

Да причём здесь судьба-планида? –
Чаще делаешь выбор сам.
Не успел, не хотел, не видел,
по усам текло, по усам.

Карту вытащил из колоды –
нет причины кричать «виват!»
Если был я завзятый лодырь,
кто, скажите, в том виноват?

Мне примером трудяга прадед,
а укором живым – родня.
Три потрёпанные тетради
оправдать не смогут меня.

Строчка к строчке до самых корок
заполнял их, скорбя, смеясь.
А набрался бумажный ворох,
никому не нужный Парнас.

Вот и вышло всё так, как вышло.
Ничего менять не хочу.
Но карабкаюсь вверх с одышкой,
как пожарный на каланчу.